
Аксель Панцер
До первого
выстрела

Аксель Панцер
До первого выстрела

https://litres.ru/74671618
SelfPub; 2026

Аннотация

Европа ещё не знает, что до войны остались месяцы. Но война уже началась — в закрытых кабинетах, секретных штабах и решениях людей, уверенных, что успеют остановить катастрофу.

Весна 1938 года. После аншлюса Австрии Гитлер готовит удар по Чехословакии, а часть германских генералов обсуждает переворот, если фюрер отдаст приказ о большой войне. Но Мюнхен приносит ему победу без выстрела — и ломает волю тех, кто собирался сопротивляться. Затем будут Прага, Польша, провал англо-франко-советских переговоров, пакт Молотова—Риббентропа и последние августовские дни 1939-го. «До первого выстрела» — роман о том, как война становится неизбежной раньше, чем заговорят пушки, и как цена чужих решений всегда ложится на тех, кто не сидит за столом переговоров.

Аксель Панцер
До первого выстрела

АКСЕЛЬ ПАНЦЕР

ДО ПЕРВОГО ВЫСТРЕЛА
Исторический роман
Книга I

2026

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПОСЛЕ АВСТРИИ

Глава 1. Вена
11–13 марта 1938 года

Утром 11 марта в Вене было непривычно тепло для ранней весны. Снег уже давно сошёл с мостовых, но город ещё сохранял ту сероватую прозрачность марта, когда деревья стоят голыми, каменные фасады кажутся старше обычного, а солнечный свет не согревает, а лишь подчёркивает каждую трещину на штукатурке. На Рингштрассе шли трамваи, открывались лавки, чиновники привычно торопились к своим

учреждениям, женщины останавливались у витрин, и всё выглядело так, словно государство продолжало существовать по заведённому порядку. Но порядок уже был только внешним. За дверями министерств телефоны звонили чаще обычного. Служащие входили в кабинеты и выходили из них, не успевая снять пальто. Слова произносились вполголоса, хотя скрывать происходящее было почти бессмысленно. Весть о германском ультиматуме распространялась быстрее газет. К полудню трудно было найти человека, который не слышал бы, что Берлин требует перемен в австрийском правительстве, а за требованиями стоит германская армия. Ещё несколько недель назад канцлер Курт Шушниг пытался убедить себя и других, что пространство для политического манёвра остаётся. Он встречался с Гитлером в Берхтесгадене, соглашался на уступки, принимал в правительство людей, которых раньше считал опасными. Каждая уступка должна была стать последней — именно так обычно убеждают себя правительства, когда обнаруживают, что последней уступки не существует. Теперь Шушниг сидел в Вене и всё яснее понимал, что спор идёт уже не о составе кабинета и не о положении австрийских национал-социалистов. Решалась судьба самой Австрии.

Он объявил плебисцит. Возможно, именно в этом была его последняя ошибка — или последняя попытка вести себя так, словно Австрия ещё обладала правом самостоятельно решать собственную судьбу. В Берлине известие о плебисци-

те восприняли почти как личный вызов. Гитлер не любил обстоятельств, которые оставляли другим людям возможность сказать «нет». Он мог говорить о воле народа, о восстановлении исторической справедливости, о единстве всех немцев, но сама перспектива голосования, результат которого не контролировался им заранее, казалась недопустимой. Австрия должна была вернуться в рейх не после обсуждения, не после торга и уж тем более не потому, что кто-то позволил австрийцам подумать над этим вопросом. Она должна была вернуться потому, что он этого потребовал. В здании имперской канцелярии в Берлине в тот день было душно. Окна открывали и снова закрывали. Секретари носили папки между кабинетами. Телефонные разговоры следовали один за другим. Порой создавалось впечатление, что решения принимаются быстрее, чем их успевают записывать. Военные, которых вызывали для консультаций, испытывали знакомое уже чувство: политика опять забегала вперёд планов. Никто в Генеральном штабе не сомневался, что австрийская армия не способна всерьёз остановить вермахт. Проблема заключалась не в австрийцах. Проблемой всегда оставалось то, что начиналось после первого приказа: Франция, Чехословакия, Италия, Великобритания. Каждое государство было линией на карте и одновременно неизвестной величиной.

Гитлер относился к этим неизвестным иначе. Там, где штабной офицер видел несколько возможных вариантов развития событий, он видел человеческие слабости. Он всё ча-

ще был уверен, что понимает иностранных государственных деятелей лучше, чем собственные генералы понимают армии противника. Они считали дивизии. Он считал страх. И пока что именно его расчёт оказывался точнее. В Генеральном штабе сухопутных войск генерал Людвиг Бек получил очередные сообщения без внешнего проявления раздражения. Он редко позволял себе повышать голос. Даже когда был недоволен, лицо его сохраняло ту строгую неподвижность, которую подчинённые нередко принимали за холодность. На самом деле Бек просто не любил решений, принятых под влиянием момента. Армия, по его убеждению, существовала именно затем, чтобы в минуты политического возбуждения кто-то продолжал считать расстояния, сроки, горючее, количество исправных машин и реальную скорость передвижения войск. Он стоял у большой карты Центральной Европы. Австрия на ней выглядела небольшой. На картах вообще всё выглядело обманчиво простым: можно было провести стрелку через Пассау и Линц, другую — через Зальцбург, третью — от баварской границы, и несколькими движениями карандаша государство исчезало. Но Бек слишком долго служил в армии, чтобы верить стрелкам. Он помнил, что за каждой тянутся колонны грузовиков, полевые кухни, ремонтные части, связисты, бензовозы, люди, которые должны понимать, куда едут, и штабы, обязанные знать, где эти люди окажутся завтра утром. Он знал, что армия на параде и армия на марше — не одно и то же. Он знал цену внезапным приказам.

Ему доложили, что войска могут быть приведены в движение. Бек спросил о сроках. Ответ его не удовлетворил. Он задал ещё несколько вопросов — о дорожной сети, о готовности моторизованных частей, о связи. В кабинете возникло напряжение, знакомое всем его подчинённым: тот момент, когда становилось ясно, что начальник не собирается принимать успокоительный ответ только потому, что другого сейчас нет.

— Сопротивление австрийцев маловероятно, господин генерал, — осторожно заметил один из офицеров.

Бек поднял глаза.

— Маловероятно — очень удобное слово. Оно означает, что кто-то уже начал строить решение на надежде.

Он не боялся Австрии. Его беспокоило другое. Слишком многое в последние годы удавалось без последствий: ремилитаризация Рейнской области, разрыв ограничений Версальского договора, перевооружение. Теперь Австрия. Каждый новый успех делал следующий риск психологически легче. И именно это тревожило Бека сильнее состояния дорог между Мюнхеном и Зальцбургом. В Вене тем временем улицы постепенно менялись. То, что утром ещё было слухом, к вечеру стало ожиданием. У зданий, связанных с национал-социалистами, собирались люди. Из окон начали появляться знамёна со свастикой, которые ещё недавно многие предпочитали держать спрятанными. Люди, несколько дней назад говорившие осторожно, теперь становились громче.

Соседи вдруг обнаруживали, что человек, с которым они десять лет здоровались на лестнице, всё это время обладал убеждениями, о которых прежде предпочитал не распространяться. Но было бы неправдой сказать, что вся Вена боялась. Очень многие ждали немцев с восторгом. Для одних аншлюс означал исполнение старой мечты об объединении немецких земель. Для других — конец австрийской политической слабости. Для третьих — надежду на работу, карьеру, порядок или просто принадлежность к государству, которое казалось сильнее и увереннее маленькой Австрии. Некоторые действительно верили Гитлеру. Другие верили прежде всего победителю. Разница между двумя этими состояниями становилась всё менее заметной.

К вечеру Шушниг понял, что поддержки, на которую он мог бы опереться, не будет. Рим молчал иначе, чем четыре года назад. Муссолини больше не собирался защищать австрийскую независимость от Германии. Лондон не давал оснований ожидать вмешательства. Париж находился в собственном политическом кризисе. Австрия оставалась одна, и эта простая мысль, наверное, была страшнее любого ультиматума. Вечером Шушниг выступил по радио. Многие слушали его стоя. Кто-то возле приёмника курил одну сигарету за другой. Кто-то плакал. Кто-то, напротив, ждал, когда он наконец закончит, чтобы выйти на улицу и присоединиться к ликующим толпам. Канцлер говорил спокойно. Он сообщил, что правительство не хочет проливать немецкую кровь.

Это была фраза, которой спустя годы будут приписывать разные смыслы — слабость, достоинство, капитуляцию, здравый смысл. В тот вечер она означала прежде всего одно: австрийская армия не станет сопротивляться. После выступления в некоторых домах воцарилась тяжёлая тишина. Люди ещё сидели у радиоприёмников, хотя передача уже закончилась. Иногда человеку трудно встать после того, как он услышал, что государство, в котором прожил всю жизнь, фактически перестало защищать само себя. На улицах же становилось всё шумнее.

Ночь с 11 на 12 марта почти никто из тех, кто занимал государственные должности в Вене и Берлине, не провёл нормально. Сменилось австрийское правительство. Артур Зейсс-Инкварт оказался во главе кабинета. В Берлине торопились оформить происходящее так, чтобы военное вторжение выглядело ответом на просьбу о помощи. Документы и реальность подгоняли друг под друга. Иногда бумага должна была подтверждать событие. Теперь событие должно было подтверждать бумагу. Утром 12 марта германские войска перешли границу. Первые колонны шли без боя. Солдаты готовились к совсем иному приёму. В частях были боеприпасы, оружие, приказы, схемы маршрутов. Многие не знали, что увидят за границей. Но вместо выстрелов их встречали цветы. Люди стояли вдоль дорог. Женщины бросали букеты на броню машин. Дети бежали рядом с колоннами. Мужчины поднимали руки в приветствии. На домах появлялись

флаги, которых ещё вчера не было видно. Некоторые солдаты улыбались, другие сначала держались настороженно, а потом тоже начинали махать рукой. Так армия, приготовленная к операции, неожиданно оказалась участницей гигантского праздничного шествия.

Но если смотреть не на толпы, а на саму военную машину, картина была менее величественной. Машины ломались. Часть техники отставала. Колонны растягивались. Возникали пробки. Связь работала не так безупречно, как хотелось бы изображать позднее в газетах и кинохронике. Танки останавливались у дорог, механики возились с моторами, грузовики приходилось вытаскивать или ремонтировать. Гитлер ехал по дорогам Австрии как победитель. Штабисты наблюдали за теми же дорогами и видели предупреждение. Никто не собирался рассказывать толпе, что победоносная армия временами двигалась с трудом. И всё же офицеры видели. Бек видел особенно ясно: армия смогла войти в Австрию, потому что никто по ней не стрелял. Это было не одно и то же, что доказать её готовность к войне. Но политические победы обладают опасным свойством: после них технические проблемы начинают казаться мелкими. Если танк сломался, но государство присоединено, кто станет говорить о танке? Если дивизия опоздала, но противник не сопротивлялся, кого заинтересует опоздание? Если приказ был подготовлен в спешке, но результатом стали ликующие толпы, кто спросит, что произошло бы, если бы по этим колоннам открыли

огонь?

Бек спрашивал. И всё меньше людей хотели слышать такие вопросы. Для Гитлера возвращение в Австрию имело ещё и личное измерение. Он родился здесь. Много лет назад уехал отсюда никому не известным молодым человеком, который не смог стать художником и жил в Вене среди таких же бедных и потерянных людей. Теперь он возвращался главой Германии, окружённый армией, чиновниками, охраной и толпами, которые выкрикивали его имя. Такое возвращение трудно воспринимать просто как политическое событие. В нём было слишком много личного торжества. Человек редко остаётся невосприимчивым к моменту, когда сама действительность начинает казаться подтверждением его представлений о собственной исключительности. Гитлер и прежде был убеждён, что обладает особой способностью чувствовать настроение противников. Но теперь каждый успех превращал уверенность в нечто большее. Генералы предупреждали о рисках. Дипломаты говорили о международных последствиях. Чиновники просили времени. А потом он рисковал — и оказывался прав. По крайней мере, так виделось ему самому. И тем опаснее становилась каждая следующая победа.

В Лондоне сообщения из Австрии читали с тревогой, но без намерения начинать европейскую войну. После 1918 года прошло только двадцать лет. Для поколения британских политиков Первая мировая не была страницей учебника.

Они помнили списки погибших, фотографии кладбищ, семьи, где не вернулся сын, брат или отец. Они знали, сколько людей приветствовали войну летом 1914-го, не представляя, что через несколько месяцев Европа превратится в пространство траншей, грязи, газа и артиллерийского огня. Поэтому страх новой большой войны нельзя было свести к трусости. Он был рациональным. Но рациональный страх тоже способен привести к ошибочному решению. Пока этого никто не знал. В Париже ситуация воспринималась ещё тяжелее. Франция имела германскую границу, память о вторжениях и миллионы собственных погибших. Французские политики могли сколько угодно говорить о союзах и безопасности, но за каждым таким словом стоял вопрос, который невозможно было произнести легко: готовы ли французы снова отправить своих сыновей на войну? Из Вены ответ казался очевидным: нет. Из Берлина — тоже. Гитлер внимательно наблюдал не только за тем, что говорили иностранные правительства, но и за тем, чего они не делали, и делал выводы.

13 марта юридическая оболочка была окончательно натянута на уже совершившееся. Австрия объявлялась частью Германского рейха. Старое государство исчезало — не после войны, не после многомесячной оккупации, не после мирной конференции, а практически за два дня. Для современников скорость происходящего была, возможно, самой пугающей его частью. Люди ещё не успели привыкнуть к од-

ной новости, а уже приходила следующая. Вчера существовал канцлер. Сегодня был другой. Вчера существовала Австрия. Сегодня она становилась частью рейха. Вчера на здании висел один флаг, утром другой. История обычно кажется медленной тем, кто читает её спустя десятилетия. Тем, кто оказывается внутри неё, она иногда движется слишком быстро. На венских улицах продолжалось ликование. На Хельденплац собирались десятки тысяч людей. Они ждали Гитлера. Для многих это был праздник национального объединения. Для других — начало страха. Еврейские семьи смотрели из окон на знамена и слушали крики с улицы, уже понимая то, чего ликующая толпа не хотела понимать: вместе с германской армией в Австрию пришли и германские законы, германская расовая политика, германская полиция, германское представление о том, кому позволено быть частью народа.

Перемена была почти мгновенной. Люди, которые ещё несколько дней назад считались соседями, врачами, адвокатами, владельцами магазинов, преподавателями, вдруг оказались теми, над кем теперь можно было издеваться почти безнаказанно. Унижение началось раньше, чем государственные учреждения успели окончательно перестроиться. В Вене евреев заставляли на улицах стирать политические лозунги, вставать на колени перед толпой, терпеть насмешки людей, которые ещё вчера проходили мимо них, не решаясь сказать ничего. Это тоже было частью аншлюса. Не

только колонны, не только музыка, не только речь с балкона. История почти никогда не состоит из одной фотографии. В Берлине вечером обсуждали успех. У Гитлера были все основания считать себя победителем. Ни Австрия, ни великие державы не оказали сопротивления. Германская территория увеличилась. Население рейха выросло. Положение Германии в Центральной Европе изменилось. И главное — произошло это практически без той цены, которой боялись осторожные генералы. Именно поэтому людям вроде Бека было особенно трудно. Предостерегать после поражения легко. Предостерегать после победы гораздо тяжелее. Победа всегда обладает собственным аргументом: вы говорили, что опасно, а ничего не случилось. Бек понимал, что услышит эту фразу ещё не один раз.

Вечером он снова смотрел на карту. Теперь Австрия была частью Германии. Но вместе с ней изменилась и другая линия — Чехословакия. До аншлюса её южная граница соприкасалась с независимой Австрией. Теперь немецкая территория охватывала её значительно шире. На карте это выглядело как простое изменение цвета. Для военного человека оно означало совсем другое: новое направление возможного наступления, увеличившаяся протяжённость границы, новая стратегическая реальность. Бек задержал взгляд на Чехословакии. Он ещё не мог знать, насколько скоро эта страна станет центром кризиса, который заставит его поставить перед собой вопрос, куда более тяжёлый, чем любой штабной

расчёт. Пока он думал как начальник Генерального штаба: о войсках, дорогах, сроках мобилизации, Франции, о том, что германская армия всё ещё не готова к большой европейской войне. Но постепенно к этим профессиональным вопросам добавлялся другой, пока ещё не сформулированный полностью. Что должен делать генерал, если политический руководитель государства принимает военный успех за доказательство собственной непогрешимости?

Бек закрыл папку. Ответа у него не было. А в Вене всё ещё кричали имя человека, который всё меньше сомневался в том, что ответ ему уже известен. Гитлер стоял перед толпой и видел море поднятых рук. Он не видел сломавшихся машин на дорогах, штабных расчётов, в которых Германия ещё далеко не выглядела непобедимой, будущих колонн раненых, Польши, Франции и разрушенных немецких городов. Человек вообще редко видит цену победы в тот момент, когда ему кажется, что он научился побеждать без неё. Он видел только людей, которые приветствовали его, и, возможно, именно тогда ещё сильнее поверил в опаснейшую для государственного деятеля мысль: осторожные люди ошибаются всегда, а он — почти никогда. На карте перед Людвигом Беком уже лежала следующая страна.

Глава 2. Следующая на карте

14 марта — 20 апреля 1938 года

В Праге известие об исчезновении Австрии не вызвало

того потрясения, какое обычно сопровождает внезапную катастрофу. Потрясение предполагает неожиданность, а здесь неожиданным оказалось только то, насколько быстро всё произошло. Ещё несколько недель назад в кабинетах Пражского града рассуждали о возможном усилении германского давления на Вену, о реакции Италии, о позиции Лондона и Парижа, о том, сможет ли Шушниг удержать власть. Составлялись записки, сравнивались донесения посольств, отмечались перемещения германских войск, осторожно обсуждалось, что будет означать аншлюс для Чехословакии. В политике вообще существует странная иллюзия: пока событие рассматривается в нескольких вариантах, человеку кажется, что каждый из них всё ещё можно предотвратить. Теперь вариантов больше не было. Австрия перестала существовать. На столе президента Эдварда Бенеша лежала карта, которой ещё несколько дней назад можно было пользоваться как картой Центральной Европы. Теперь она устарела. Границы на бумаге остались прежними, но одна из них фактически исчезла. Бенеш смотрел на юг страны и видел то, чего не мог не видеть любой человек, хоть немного понимавший военную географию. Германский рейх больше не находился только к западу и северо-западу. Германия пришла на юг. То, что прежде было австрийской границей, превратилось в германскую. Чехословакия оказалась охвачена рейхом гораздо теснее.

В обычной жизни изменение границы замечают прежде

всего таможенники, железнодорожники, торговцы и люди, живущие возле неё. Для президента государства граница имела иной смысл. За ней стояли дивизии, дороги, аэродромы, мобилизационные возможности и расстояния, которые теперь приходилось считать заново. Бенеш не любил драматических жестов. В этом отношении он был полной противоположностью Гитлеру. Он принадлежал к поколению политиков, для которых государство создавалось не на площади под крики толпы, а в кабинетах, на конференциях, посредством переговоров, договоров, осторожных формулировок и бесконечных согласований интересов. Чехословакия сама возникла именно таким образом. Он участвовал в её создании, помнил Масарика, Парижскую мирную конференцию, первые годы республики, когда сама мысль о независимом чехословацком государстве ещё казалась невероятной. Он слишком хорошо знал цену международным гарантиям, потому что когда-то именно международная система позволила его стране появиться. И потому теперь ему было особенно трудно признать, что система, в которую он верил почти профессионально, начинала давать трещины.

Аншлюс был не просто присоединением соседнего государства. Он был предупреждением, причём предупреждением, которое каждый понимал по-своему. В Лондоне оно означало, что германские требования не закончились Рейнской областью. В Париже — что немецкая мощь увеличилась без единого французского выстрела. В Риме — что прежнее

соперничество с Берлином окончательно уступает место союзу. В Праге оно означало гораздо более простую вещь: следующими могут быть они. Эту мысль почти никто не произносил вслух именно потому, что она была слишком очевидной. В президентской канцелярии продолжали работать так, как работают учреждения в опасные периоды: ещё аккуратнее, чем обычно. Бумаги регистрировались, посетителей принимали по расписанию, чиновники старались не задерживаться в коридорах. Чем сильнее становилось ощущение угрозы, тем важнее казалось сохранить внешнюю нормальность. Сам Бенеш тоже держался спокойно. Он никогда не обладал внешностью человека, способного одним появлением завладеть толпой. Невысокий, собранный, почти академичный, он скорее производил впечатление профессора или чиновника, привыкшего доказывать свою правоту последовательностью аргументов. Его сила заключалась в умении ждать, договариваться, связывать интересы разных сторон.

* * *

В Лондоне исчезновение Австрии обсуждали без немецких представителей и без попытки угадать, понравится ли Берлину британская формулировка. Невилл Чемберлен, Эдвард Галифакс и Александр Кадоган смотрели на Центральную Европу прежде всего через вопрос о Франции. У Великобритании не было договора, который обязывал её защищать Чехословакию. У Франции такой договор был. Поэто-

му следующий германо-чехословацкий кризис мог вовлечь Британию не через Прагу, а через Париж: Германия нападёт, Франция сочтёт себя обязанной выступить, а британскому кабинету придётся решать, может ли он оставить главного западного партнёра один на один с рейхом. Чемберлен не хотел превращать эту цепочку в автоматизм. Для него именно автоматизм союзов был одним из механизмов, которые в 1914 году превратили локальный кризис в мировую войну. Но Кадоган видел обратную опасность: если Берлин решит, что французский договор ничего не значит без заранее обещанной британской поддержки, отсутствие ясности само может сделать риск привлекательнее.

Британская проблема поэтому состояла не в выборе между «за Чехословакию» и «против Чехословакии». Кабинет пытался одновременно удержать Францию от одиночного шага, Прагу — от действий, которые в Лондоне могли счесть провокационными, и Германию — от убеждения, что западные державы вообще не вмешаются. Чемберлен считал, что пространство для переговоров ещё существует и что национальные претензии судетских немцев нельзя просто объявить выдумкой Берлина. Галифакс с этим не спорил. Он спрашивал другое: что произойдёт, если уступки Праги не закроют вопрос, а лишь покажут Гитлеру, что давление работает. Ответа пока не было. В этом и заключалась самостоятельная британская линия: Лондон думал не только о намерениях Германии, но и о том, насколько далеко готова пой-

ти Франция и насколько далеко вслед за ней придётся идти Британии.

* * *

В Париже после прихода к власти кабинета Эдуара Даладье тот же треугольник выглядел жёстче. Жорж Бонне хотел сохранить союз с Чехословакией, но ещё больше хотел не допустить ситуации, в которой Франция окажется единственной великой державой, обязавшейся начать войну из-за кризиса, ход которого она не контролирует. Даладье видел в этом не повод забыть договор, а причину добиться от Лондона ясности. Если Германия нападёт на Чехословакию и Франция выполнит обязательства, останется ли Британия нейтральной? Если останется, французская стратегия на западе становится одной. Если не останется — совсем другой. Поэтому французские разговоры о пражских уступках рождались не только из желания умиротворить Гитлера. Они рождались ещё и из страха оказаться перед обязательством, выполнение которого зависит от решения другой державы, не подписывавшей французского договора.

Бонне осторожно говорил о необходимости заставить Прагу быть максимально гибкой. Даладье соглашался до определённой границы. Союзник, по его мнению, действительно не мог требовать от Франции крови, не делая всего возможного для компромисса. Но и Франция не могла давить на союзника так, будто договор уже ничего не стоит. Между этими позициями ещё не было разрыва. Было разли-

чие темпераментов: Бонне искал формулу, которая прежде всего исключает войну; Даладье хотел исключить войну, не превращая французское обещание в пустой текст. Оба смотрели на Лондон чаще, чем им нравилось признавать.

* * *

В Москве аншлюс прочитали иначе. Максим Литвинов уже 14 марта говорил иностранным дипломатам, что безопасность Чехословакии после исчезновения Австрии может оказаться лишь временной, а через несколько дней публично предложил другим державам обсуждать практические коллективные меры против дальнейшей агрессии. Для советской внешней политики вопрос не сводился к защите границ, установленных после Первой мировой войны. Советский Союз не участвовал в создании Версальской системы и не испытывал к ней сентиментальной привязанности. Но дальнейшее усиление национал-социалистической Германии и её движение на юго-восток меняли европейский баланс сил в сторону, которую Москва считала опасной для себя.

Советско-чехословацкий договор давал политический ответ и одновременно создавал ограничение. Москва была обязана помогать при выполнении условий пакта, но чехословацко-советская система была связана с Францией: советское участие предполагалось вместе с французским. Кроме того, между Советским Союзом и Чехословакией не существовало общей границы. Любая крупная сухопутная по-

мощь немедленно превращалась из вопроса союзнической воли в вопрос Польши, Румынии, железных дорог, транзита и воздушных коридоров. Польская позиция уже выглядела наиболее трудной; Варшава не собиралась спокойно видеть Красную армию на своей территории. Румынский вариант оставался предметом переговоров и военного планирования, но не превращался от этого в готовый коридор, которым можно воспользоваться по приказу за одну ночь.

После аншлюса Сергей Александровский, советский представитель в Праге, был вызван в Москву. Его слушали не только в Наркомате иностранных дел. Вопрос обсуждался на уровне Сталина, Ворошилова, Литвинова, Молотова и Кагановича. Александровскому разрешили заверять Бенеша в серьёзности советских обязательств и в готовности армии и авиации действовать при возникновении предусмотренной договором ситуации. Но даже внутри Москвы существовала граница, которую не следовало стирать красивыми обещаниями: Чехословакии не должны были внушать, будто СССР способен легко заменить всю западную систему союзов и в одиночку решить задачу, для которой не имел общей границы. Советская линия была реальной. Но она была линией коллективного действия, а не обещанием чудесного спасения.

Но весной 1938 года именно эти качества начинали становиться уязвимостью. Потому что против него действовал человек, который не считал компромисс целью переговоров.

Для Гитлера переговоры были ещё одним способом наступления. В этом заключалась разница, которую европейские дипломаты понимали постепенно и каждый в своё время. Бенеш понимал её уже достаточно хорошо, но даже понимание не давало ответа на главный вопрос: что делать стране, которая не может позволить себе ни капитуляцию, ни войну в одиночку? Чехословакия не была беззащитной. Она обладала армией, развитой промышленностью, современной системой обороны, собственным производством вооружений. Заводы Шкода давали стране и её армии то, чего многим меньшим европейским государствам приходилось добиваться за рубежом. На германском направлении строились мощные укрепления. Мобилизационные планы существовали не только на бумаге. Офицеры знали, какие рубежи должны занимать их части. Но военная сила Чехословакии имела одно неприятное свойство: её можно было реализовать только в определённой международной обстановке. Страна имела договор с Францией. Она имела отношения с Советским Союзом, помощь которого была связана с действиями Франции. Но ни один договор не мог сам по себе остановить танк. Договор становился силой только тогда, когда другая сторона была готова выполнить его. Вот этого Бенеш не мог знать наверняка.

Через несколько дней после аншлюса в чехословацком военном ведомстве карты разложили уже иначе. Офицеры измеряли новые расстояния, смотрели на Моравию, Брно, ком-

муникации, на южные направления, которые прежде имели совсем другую степень угрозы. Страна, и до того имевшая неудобную вытянутую форму, после присоединения Австрии к Германии оказалась в ещё более тяжёлом стратегическом положении. Один из штабистов провёл карандашом вдоль новой германской границы, остановился и некоторое время смотрел на карту.

— Нам придётся держать больше сил на юге, — сказал он.

— За счёт запада? — спросил другой.

— Если придётся.

— Прекрасный выбор.

— Война вообще редко предлагает хорошие.

Ему было достаточно нескольких секунд, чтобы понять то, для чего политикам потребуются месяцы переговоров. Оборонять Чехословакию теперь стало труднее. Не невозможно — именно труднее. В таких различиях и живёт военная реальность. Но главная угроза исходила пока не от танков. Она исходила из собственных граждан республики. В приграничных областях проживали миллионы немцев. Они называли эти земли своей родиной задолго до появления Чехословакии. Их города имели немецкие названия, их семьи поколениями жили в Богемии и Моравии, их промышленники строили фабрики, ремесленники передавали мастерские детям, учителя преподавали немецким детям на немецком языке. Чехословацкое государство не придумало немецкое население Судет. Так же как Гитлер не придумал суще-

ствовавшие там противоречия. Именно поэтому происходящее было опаснее простой внешней агрессии. У конфликта была настоящая почва. После распада Австро-Венгрии немецкое население оказалось меньшинством в новом государстве, центр которого находился в Праге. Многие так и не приняли новую национальную конструкцию как свою. Они помнили времена, когда немецкий язык и немецкая культура занимали совсем другое положение. Они болезненно воспринимали назначение чешских чиновников, земельную реформу, изменения в административной системе, необходимость приспосабливаться к государству, которое называло себя чехословацким. Экономический кризис ударил по промышленным приграничным районам особенно тяжело. Закрывались предприятия. Люди теряли работу. В семьях, где ещё недавно обсуждали цены на уголь и заработок, всё чаще говорили о Праге.

Политическое недовольство обладает способностью искать лицо, которому можно предъявить счёт. Конрад Генлейн это понимал. Он не создал раздражение судетских немцев. Он научился его собирать. К середине тридцатых годов его партия превратилась в огромную политическую силу. Для многих немецких избирателей она становилась не просто партией, а способом заявить, что они существуют, что Прага не может бесконечно разговаривать с ними как с меньшинством, которое должно быть благодарно уже за то, что ему позволяют сохранять язык и культуру. Но после прихо-

да Гитлера к власти в Германии смысл этой политики начал меняться. Совсем рядом существовал рейх — рейх, который объявлял себя государством всех немцев, который становился сильнее и только что поглотил Австрию. После 12 марта вопрос, до того казавшийся опасным предположением, начал звучать почти естественно: если австрийские немцы смогли оказаться внутри Германии, почему судетские должны оставаться снаружи? На площадях и в пивных Судетской области этот вопрос формулировали проще, чем в дипломатических записках. На работе люди осторожно спрашивали друг друга, что теперь будет. Дома разворачивали карты. Кто-то радовался, кто-то тревожился. Кто-то действительно мечтал о Германии. Другие хотели прежде всего автономии и уважения к немецкому населению. Были и те, кому сама мысль о нацистском рейхе внушала отвращение. Немецкий язык не делал человека национал-социалистом. Среди судетских немцев существовали социал-демократы, католики, либералы, люди, которые смотрели на происходящее в Австрии и слишком хорошо понимали цену лозунга национального единства.

Но весной 1938 года их голоса становились слабее. Победа всегда усиливает победителя даже за пределами его территории. После Австрии Гитлер сделался убедительнее не потому, что его аргументы стали разумнее, а потому, что за ними теперь стоял результат. Он обещал объединять немцев — и объединял. Обещал уничтожить ограничения Версаля

— и уничтожал. Говорил, что западные державы не посмеют остановить Германию, — и пока они не останавливали. Для человека, потерявшего работу в каком-нибудь пограничном промышленном городе, сложные рассуждения о коллективной безопасности были менее убедительны, чем поезда из Германии, газеты из Германии и фотографии толп в Вене. Сила всегда производит собственные доказательства. В Праге это чувствовали. Премьер-министр Милан Годжа считал, что национальный вопрос нельзя бесконечно оставлять в нынешнем состоянии. Он давно искал способы изменить систему отношений с меньшинствами. Но любое предложение сталкивалось с двойным препятствием.

— Если уступить слишком мало, Генлейн скажет, что Прага не хочет слышать немцев, — сказал он Бенешу на одном из совещаний.

— А если слишком много, — ответил президент, — мы создадим территорию, политически управляемую из Берлина.

— После Австрии этот риск уже нельзя считать теоретическим.

— Я и не считаю.

После аншлюса эта дилемма стала почти неразрешимой. Ещё хуже было то, что никто уже не мог определить, чего действительно хочет Генлейн: автономии, равенства, особого статуса, федерализации или теперь уже присоединения к рейху? Ответ зависел не только от самого Генлейна. В кон-

це марта его вызвали в Берлин. Поезд шёл через страну, переживавшую один из наиболее триумфальных периодов своей недавней истории. На станциях висели флаги. Газеты продолжали писать об Австрии. Фотографии Гитлера в Вене печатались снова и снова, будто одного изображения было недостаточно для доказательства того, что произошло. Генлейн смотрел на всё это совсем иначе, чем обычный пассажир. Для него успех рейха означал прежде всего изменение собственного положения. Ещё недавно он был лидером крупной партии внутри Чехословакии, человеком, которого Прага вынуждена учитывать. Теперь за ним стояла Германия. Но это покровительство не было бесплатным. Поддержка сильного государства редко оставляет слабому союзнику полную свободу. В Берлине 28 марта Генлейн встретился с Гитлером. Позднее смысл этой встречи станет понятен гораздо лучше, чем многим современникам весной 1938-го. Внешне речь могла идти о положении судетских немцев, о тактике партии, об отношении к чехословацкому правительству. Но за такими словами скрывалось принципиальное решение. Компромисс не должен был завершить кризис. Требования следовало строить так, чтобы удовлетворение одного открывало дорогу следующему. Прага не должна была получить возможность сказать: мы договорились.

Генлейн оказался перед человеком, который ещё несколько лет назад представлялся даже многим немецким консерваторам шумным политическим авантюристом, а теперь

распоряжался судьбами государств. Гитлеру не требовалось объяснять тонкости национальной политики Чехословакии. Его интересовало другое: можно ли превратить существующее недовольство в рычаг, заставить Прагу делать уступки, которые будут выглядеть недостаточными уже в момент их принятия, создать ситуацию, при которой Чехословакия окажется виновной независимо от того, что предпримет.

— Если они откажут, — сказал Гитлер, — мы получим доказательство угнетения немцев.

Генлейн молчал.

— Если согласятся, потребуете больше.

— А если согласятся и на это?

Гитлер посмотрел на него почти с раздражением.

— Тогда вы ещё плохо понимаете задачу.

Если Прага применит силу против беспорядков — появятся рассказы о чешском терроре. Если не применит — власть государства в приграничных районах начнёт разрушаться. Это была политика, в которой противнику оставляли выбор только между плохими решениями. Генлейн вышел после встречи не просто лидером собственной партии. Он становился частью гораздо большей игры. Возможно, именно здесь проходила та незаметная граница, после которой политик перестаёт представлять недовольство людей и начинает использовать этих людей в интересах чужого государства. Сам он, вероятно, объяснял происходящее иначе. Человек редко признаётся себе, что превратился в инструмент.

Гораздо легче считать, что мощь союзника наконец позволит добиться того, чего раньше не удавалось добиться собственными силами. На следующий день переговоры продолжились уже в окружении германской дипломатии. Механизм начал складываться. В Праге об этом во всей полноте ещё не знали. Но чувствовали изменение почти физически. Тон Судетской немецкой партии становился увереннее. После Австрии осторожность исчезала. В небольших городах возле германской границы партийные собрания собирали всё больше людей. Символика, прежде использовавшаяся осторожнее, становилась заметнее. Молодёжь маршировала увереннее. Газеты всё чаще противопоставляли слабость Праги силе рейха.

Чехи, жившие в тех же городах, начинали смотреть на соседей иначе. Так начинается распад общества задолго до того, как появляются солдаты. Сначала человек слышит, что сосед голосует за другую партию. Потом узнаёт, что сосед хочет автономии. Потом — что автономия должна быть такой, при которой решения Праги почти перестанут действовать. Потом замечает у него значок, который слишком похож на символику государства за границей. Потом перестаёт обсуждать с ним политику. Потом перестаёт здороваться. А однажды обнаруживает, что они уже считают друг друга представителями разных сторон будущего конфликта. В одной из школ приграничного города дети всё ещё сидели за соседними партами. Один говорил дома по-чешски, другой

по-немецки. На перемене они могли драться из-за мяча, обмениваться карандашами, списывать друг у друга задачи и совершенно не понимать, почему взрослые всё чаще спрашивают, кто они. Но дома родители уже слушали разные радиостанции. Это различие было важнее языка. Немецкое радио говорило о притеснениях, пражское — о необходимости сохранить государственное единство. Каждая сторона выбирала те факты, которые подтверждали её страх. И постепенно страх становился политической программой.

Бенеш получал доклады. Он читал их внимательно, иногда возвращаясь к уже просмотренной странице. Его раздражали не плохие новости сами по себе, а отсутствие ясного решения. Репрессии против Судетской немецкой партии могли дать Берлину именно тот повод, которого там ожидали. Безграничные уступки могли разрушить государство без войны. Оставить всё как есть было уже невозможно. Он искал третью возможность. В этом была его природа. Бенеш почти всегда искал третью возможность: переговоры, посредничество, гарантии, комбинацию международных обязательств, внутренней реформы и времени. Ему казалось, что если суметь разделить реальные жалобы судетских немцев и политические цели Берлина, кризис ещё можно вернуть в рамки внутренней политики. Проблема заключалась в том, что Берлин как раз стремился не позволить ему сделать это. Гитлер тоже смотрел на карту. Но его карта отличалась от карты Бенеша. На ней Чехословакия выглядела не просто соседним

государством. Она была препятствием. Её географическое положение вклинивалось в германское пространство. Её союз с Францией превращал её в потенциального противника. Её промышленность имела военную ценность. Её укрепления создавали проблему для наступления. И, что особенно раздражало Гитлера, само существование успешной Чехословакии противоречило его представлению о Центральной Европе. Здесь существовало многонациональное демократическое государство, возникшее после поражения Германии и распада империй. Для него это было не только политическим фактом — напоминанием о мире, который он хотел уничтожить.

После Австрии Чехословакия стала казаться ещё более одинокой. Но пока Гитлер не спешил. Успех способен научить человека не только самоуверенности, но и терпению, если он обнаруживает, что противник постепенно уступает без применения силы. Берлин мог ждать. Судетский вопрос работал сам. Каждая демонстрация, каждый спор между немецким муниципалитетом и чехословацкими властями, каждое столкновение, каждый неосторожный приказ полиции превращались в материал. Геббельсовская пропаганда умела работать с такими материалами. Для неё не существовало сложного государства, где разные национальности десятилетиями пытались жить внутри общей политической конструкции. Существовало только простое изображение: немцы страдают, Прага угнетает их, Германия наблюда-

ет, фюрер не оставит немцев в беде. Простые истории всегда распространяются легче сложных. В Париже чехословацкую проблему обсуждали без всякого желания превращать её во французскую. Французские обязательства перед Прагой существовали, и отрицать это было невозможно. Но за юридическими формулировками начинались вопросы, на которые никто не хотел отвечать слишком быстро: как именно Франция должна воевать за Чехословакию? Начинать наступление против Германии? Когда? Какими силами? Как поведёт себя Великобритания? Что сделает Италия? Как отреагирует Польша? Возможно ли участие Советского Союза? И каким образом советские войска вообще смогут добраться до Чехословакии, не имея общей границы?

Политические договоры выглядели гораздо убедительнее до того момента, когда военным приходилось переводить их на язык железнодорожных графиков. Генеральные штабы всегда уничтожают часть дипломатических иллюзий. Во Франции ещё жила память о Вердене — не как памятник, а как личный опыт. Министры, генералы, депутаты видели ветеранов на улицах. В каждом городе находились памятные доски с именами погибших. В каждой семье могли назвать человека, который не вернулся. Когда французский политик говорил «мы обязаны выполнить союзнические обязательства», за этой фразой стояли дивизии, а дивизии означали людей. Поэтому желание найти компромисс с Германией не обязательно рождалось из симпатии к Гитлеру. Ча-

ще оно рождалось из воспоминания о том, что происходит, когда компромисс найти не удаётся. В Лондоне рассуждали похоже, но география давала британцам роскошь большей отстранённости. Чехословакия была далёкой страной в центре Европы. Миллионы британцев едва могли показать Судетскую область на карте. И тем не менее именно судьба этой далёкой полосы земли всё быстрее превращалась в вопрос, который мог решить, будут ли британские мужчины снова мобилизованы для войны на континенте.

Невилл Чемберлен ещё не знал, что через несколько месяцев будет трижды летать в Германию из-за страны, в которой прежде никогда не бывал. Пока он искал возможность более широкого урегулирования. Если устранить причины германского недовольства, если исправить то, что даже многие британцы считали несправедливостями послевоенного устройства, если дать Германии разумное место в Европе, то, возможно, у Гитлера исчезнут основания для дальнейшего давления. Это была логика не глупого человека. Именно поэтому её будущая неудача окажется настолько важной. Ошибки опаснее всего тогда, когда строятся на разумных исходных предположениях. Германия действительно имела основания быть недовольной частью Версальского порядка. Немцы действительно жили вне границ рейха. Судетские немцы действительно имели собственные политические требования. Чехословакия действительно не была государством без национальных противоречий. Но из каждого верного на-

блюдения можно сделать неверный вывод. Чемберлен пока надеялся, что проблема имеет конечное решение. Гитлер уже понимал, что конечного решения не хочет.

В Берлине в это время происходило ещё одно, пока почти незаметное изменение. Военные всё чаще смотрели не только на Чехословакию, но и друг на друга. Людвиг Бек не устраивал заговоров. Пока. Его работа состояла в другом. Он должен был оценить, способна ли германская армия выполнить политическую задачу, если такая задача будет поставлена. И чем больше он думал о возможной войне против Чехословакии, тем меньше ему нравились ответы. Чехословацкая армия не была австрийской. Её укрепления не были декорацией. Её солдаты получили бы приказ стрелять. Франция могла вступить в войну. Если вступит Франция, неизбежно возникал вопрос о Британии. Немецкие западные укрепления ещё далеко не давали того чувства безопасности, какое впоследствии будут связывать с Западным валом. Германская армия быстро росла, но быстрый рост сам по себе создавал проблемы. Новые формирования требовали обученных офицеров, сержантов, техники, связи, транспорта. Цифра количества дивизий на бумаге могла впечатлять политика и совершенно не удовлетворять начальника Генерального штаба.

Аншлюс дал Беку неприятный урок — не тот, который извлёк Гитлер. Гитлер увидел, что риск оправдался. Бек увидел, насколько легко политическая победа способна скрыть

военные недостатки. Теперь эти два человека смотрели на Чехословакию и видели противоположное. Гитлер видел возможность. Бек — опасность. Между ними пока не было открытого конфликта, но он уже существовал в самой логике их мышления. Гитлер исходил из того, что противники отступят. Бек обязан был исходить из того, что они могут не отступить. Для политика вероятность могла быть достаточным основанием для риска. Для военного профессионала вероятность поражения означала необходимость готовиться именно к худшему варианту. Весной 1938 года эти различия ещё можно было обсуждать в форме служебных замечаний. Через несколько месяцев они заставят Бека поставить вопрос, который немецкий генерал не должен был ставить себе в нормальном государстве: обязан ли он подчиняться приказу, если убеждён, что приказ приведёт страну к катастрофе? Пока до этого было далеко. В начале апреля Европа наслаждалась весной. В Праге на набережных Влтавы становилось люднее. Кафе выставляли столики наружу. Над городом поднимались шпили соборов, туристы переходили Карлов мост, студенты спорили в кофейнях. На Пражском граде менялся караул. Газетные киоски были полны заголовков об Австрии и судетских немцах, но человек обладает удивительной способностью привыкать даже к тревоге, если она не превращается в выстрел.

Жизнь продолжалась — именно так она всегда продолжается перед катастрофами. Люди покупали обувь, назначали

свадьбы, искали квартиры, ругались из-за денег, водили детей в школу, слушали музыку, строили планы на лето. На заводах выполняли заказы. На границе солдаты проверяли укрепления. В министерствах готовили документы. А где-то в Берлине уже думали о том, каким должно быть требование, которое Прага не сможет принять. Не потому, что требование само по себе было бессмысленным. Это было бы слишком просто. Лучше всего работало требование, которое выглядело справедливым ровно до той черты, за которой начиналось разрушение государства. Генлейн вернулся из Германии другим. Не внешне. Он по-прежнему мог говорить о правах немецкого населения, о равенстве, о необходимости исправления несправедливостей. Он не объявил, что намерен разрушить Чехословакию. Такое заявление сделало бы положение слишком ясным. Политическая тактика требовала обратного. Нужно было оставаться человеком, с которым Прага обязана вести переговоры, и одновременно делать так, чтобы переговоры не завершались. Чешская сторона должна была постоянно выглядеть недостаточно уступчивой.

При этом внутри Судетской немецкой партии существовали разные люди. Не каждый активист партии понимал окончательные цели Берлина. Не каждый избиратель, голосовавший за Генлейна, голосовал за уничтожение республики. Многие хотели большего национального самоуправления и действительно считали, что именно сильная партия заставит Прагу наконец услышать их. Это делало происхо-

дящее ещё трагичнее. Большая политика часто использует людей, которые голосуют за одну цель, чтобы добиться совершенно другой. Генлейн готовился к партийной конференции в Карлсбаде. Там должна была появиться программа требований. Формулировки обсуждались, выверялись. Каждая из них могла быть представлена как защита национальных прав. Но вместе они образовывали политическую конструкцию, которая должна была поставить Прагу перед почти невозможным выбором. Бенеш тоже готовил предложения. Его люди искали формулу, способную удовлетворить хотя бы умеренную часть судетских немцев и одновременно сохранить единство государства. Иногда две стороны переговоров действительно ищут точку соприкосновения. Весной 1938 года происходило нечто иное. Прага искала точку, в которой можно остановиться. Берлин искал способ не дать остановиться нигде.

В середине апреля Бенеш однажды задержался в кабинете дольше обычного. За окнами уже темнело. На столе лежали доклады, проекты реформ, сведения из приграничных районов, сообщения дипломатических представительств. Их было столько, что сама масса бумаги создавала иллюзию контроля. Если событие описано в документе, оно кажется управляемым. Бенеш устало снял очки. Перед ним находились цифры немецкого населения в отдельных районах, результаты прошлых выборов, сведения о партийных организациях, обзоры германской прессы. В каждом документе со-

держался небольшой кусок проблемы. Ни в одном не было решения. Он прекрасно понимал, что многие требования немецкого населения нельзя просто объявить выдумкой Берлина. Это было бы и глупо, и опасно. Но понимал и другое: после аншлюса каждое внутреннее решение Чехословакии немедленно становилось предметом германской внешней политики. Раньше спор шёл между Прагой и собственными гражданами. Теперь за спиной части этих граждан стояла держава, которая только что доказала способность уничтожить соседнее государство без войны.

Бенеш снова надел очки и посмотрел на карту. Граница тянулась огромной дугой. На ней находились укрепления. Значительная часть их располагалась именно в районах с немецким населением. Это было географическое проклятие. Предоставить этим районам далеко идущую политическую автономию означало передать особый статус территории, на которой строилась главная оборонительная система страны. Отказать означало дать Генлейну возможность объявить, что Прага никогда не признает равноправия немцев. На карте решения выглядели ещё хуже, чем в политических документах. Возможно, именно тогда Бенеш особенно ясно почувствовал, насколько мало у маленького государства бывает по-настоящему хороших решений. Великие державы могли ошибаться и исправлять ошибку позже. Чехословакия могла ошибиться один раз. В Берлине Гитлер тоже не видел необходимости торопиться. Австрия была его. Запад не вме-

шался. Французское правительство было занято внутренними трудностями. Британия хотела переговоров. Италия становилась союзником. Судетская немецкая партия усиливалась сама. Зачем начинать войну сегодня, если можно заставить противника слабеть до войны?

Он любил быстрые решения, но умел ждать, когда ожидание работало на него. Чехословакия должна была созреть. Сначала международное общественное мнение следовало убедить, что существует судетская проблема. Потом — что Прага не может её решить. Затем — что Германия имеет моральное право вмешаться. А уже после этого можно было решать, понадобится ли армия вообще. 20 апреля в Берлине праздновали день рождения фюрера. Поздравления, цветы, военные, партийные руководители, чиновники — всё свидетельствовало о власти. Гитлеру исполнилось сорок девять. За пять лет он превратился из главы правительства, которому консервативные политики когда-то надеялись поставить рамки, в человека, от решения которого зависела судьба Центральной Европы. Австрии больше не существовало. Чехословакия ещё существовала. Разница между этими двумя предложениями пока казалась огромной. Через год она станет значительно меньше. В Пражском граде Бенеш в тот же день работал с очередными материалами по судетскому вопросу. Он ещё верил, что государство можно защитить сочетанием внутренней реформы, союзов и дипломатии. Возможно, другого пути у него действительно не было. В Бер-

лине Генлейн готовил выступление, которое через четыре дня должно было прозвучать в Карлсбаде. В нём будут перечислены требования Судетской немецкой партии. Каждое можно будет обсуждать отдельно. Каждое можно будет объяснять. Каждое будет выглядеть предметом переговоров. Но вместе они станут началом механизма, предназначенного совсем не для достижения соглашения.

А в германском военном ведомстве уже лежали карты. Пока ещё без окончательных стрелок. Через день, 21 апреля, Гитлер вызовет Кейтеля. И тогда разговор о Чехословакии впервые станет разговором не только о немцах, правах, автономии и дипломатии. На стол ляжет совсем другая бумага. На ней будет написано: план «Грюн» — «Зелёный». План войны.

Глава 3. Зелёный

21 апреля 1938 года

В Берлине утро началось с дождя. Небо с самого рассвета висело низко, и город казался темнее, чем обычно. Вода стекала по каменным фасадам, по лобовым стёклам автомобилей, по козырькам охраны у государственных зданий. На Вильгельмштрассе шли люди с поднятыми воротниками, торопясь укрыться от сырости, и только у входов в правительственные учреждения всё оставалось неизменно строгим: караулы, машины, документы, проверяемые у дверей. На ка-

лендаре было 21 апреля. День рождения Гитлера прошёл накануне. Ещё вчера в канцелярии принимали поздравления, цветы, телеграммы, делегации. Газеты снова печатали фотографии из Австрии. На улицах висели флаги. Люди говорили об исторической победе, об объединении немцев, о том, как ещё несколько лет назад подобное казалось невозможным. Сегодня праздничных слов стало меньше. На стол ложились карты. Вильгельм Кейтель вошёл к Гитлеру с папкой под мышкой и сразу понял, что разговор будет не из тех, после которых можно ограничиться обычной служебной записью. Гитлер стоял возле окна. Он не сел, когда Кейтель вошёл. Это уже означало определённое настроение. Кейтель давно научился замечать такие мелочи. Если фюрер принимал решение, ему было трудно усидеть на месте. Он ходил, останавливался, снова начинал ходить, будто сама неподвижность мешала мысли.

На столе лежала карта Чехословакии.

— Вы видели последние сведения из Праги? — спросил Гитлер.

— Да, мой фюрер.

— И?

Кейтель на секунду задержался с ответом. У Гитлера были вопросы, на которые он действительно хотел получить мнение собеседника, и вопросы, ответ на которые уже существовал. Ошибка заключалась в том, чтобы перепутать одно с другим.

— Ситуация развивается в нашу пользу. Судетский вопрос усиливает внутреннее давление на чехословацкое правительство.

Гитлер усмехнулся.

— «Чехословацкое правительство».

Он подошёл к карте.

— Они всё ещё называют это государством.

Кейтель не ответил. Гитлер провёл пальцем вдоль западной границы Чехословакии.

— Посмотрите на неё. Это не страна. Это укреплённый выступ против Германии.

Такой взгляд на карту был характерен для него. Государства существовали не сами по себе. Они становились либо пространством, либо препятствием, либо инструментом. Граница интересовала его прежде всего потому, что за ней находилось то, чего Германия ещё не контролировала. Кейтель подошёл ближе.

— Чехословацкая армия серьёзнее австрийской.

Гитлер резко посмотрел на него.

— Я знаю.

— И укрепления в Судетах нельзя недооценивать. Если дело дойдёт до военной операции, потребуется подготовка.

— Именно поэтому вы здесь.

В комнате повисла короткая пауза. За окном по стеклу продолжал стучать дождь. Гитлер положил ладонь на край карты.

— Я хочу знать, какие возможности существуют.

— Возможности для чего?

Гитлер посмотрел на него так, словно вопрос был лишним.

— Для решения чешского вопроса.

Кейтель медленно выдохнул. Вот теперь разговор окончательно перешёл ту черту, за которой дипломатические формулировки переставали иметь значение.

— Политического или военного?

— Оба варианта должны существовать одновременно.

Кейтель чуть нахмурился.

— То есть армия должна подготовить операцию, даже если давление на Прагу даст результат без войны?

— Особенно если давление даст результат.

Гитлер снова начал ходить.

— Генералы совершают одну и ту же ошибку. Они думают, что война начинается, когда стреляют. Нет. К этому времени она уже почти закончена.

Кейтель слушал. Подобные фразы Гитлер произносил не впервые. Он любил противопоставлять политическое чутьё военному профессионализму, словно штабной расчёт и политическая воля были не двумя частями одного решения, а соперниками.

— Австрия доказала это, — продолжал Гитлер. — Вы готовили части. Я смотрел на Лондон, Париж и Рим. В результате ваши солдаты получили цветы.

Кейтель знал, что мог бы напомнить о сломавшейся технике, растянувшихся колоннах, задержках и путанице на дорогах. Но прекрасно понимал, что в этот момент такая реплика прозвучит почти как попытка уменьшить значение победы.

— Австрия не сопротивлялась.

Гитлер остановился.

— Именно.

Слово прозвучало почти удовлетворённо. Кейтель понял, что они видят в одном и том же факте противоположные вещи. Для него отсутствие сопротивления означало, что аншлюс ничего не доказал о боеспособности армии в настоящей войне. Для Гитлера оно доказывало, что настоящей войны можно не допустить, если правильно выбрать момент давления.

— Чехи будут сопротивляться, — сказал Кейтель.

— Если останутся одни?

Кейтель не ответил сразу. Гитлер указал на Францию.

— Вот что вы все видите.

Палец переместился на Британию.

— И вот это.

Потом он почти раздражённо отдёрнул руку.

— А я вижу людей. Французы не хотят войны. Британцы тем более. Они будут говорить, угрожать, предупреждать, посылать посредников. Для них переговоры — способ выиграть время.

Он сделал короткую паузу.

— Для нас тоже.

Кейтель всё больше чувствовал, что его пригласили не для обсуждения самого решения. Решение ещё не было окончательно оформлено, но направление мысли было очевидным.

— Что вы хотите от Верховного командования?

— Варианты.

— Срок?

— Как можно быстрее.

— Цель операции?

Гитлер усмехнулся.

— Вот теперь вы задаёте правильный вопрос.

Он снова повернулся к карте.

— Чехословакия должна перестать представлять угрозу Германии.

Кейтель ждал продолжения.

— Это слишком широкая формулировка для военного планирования. Если речь идёт об ограниченной операции в Судетской области, это один план. Если об уничтожении чехословацких вооружённых сил и оккупации страны — совсем другой.

Несколько секунд Гитлер молчал.

— Пока не решено, каким будет повод.

Кейтель поднял взгляд. Не цель. Повод. Разница была слишком заметной.

— Значит, операция должна быть готова к нескольким ва-

риантам начала? Спровоцированный инцидент?

Гитлер не ответил напрямую.

— Политическая ситуация может потребовать быстрых действий.

Кейтель посмотрел на карту. Чешская граница была длинной, сложной. Значительная часть укреплений находилась в горной и лесистой местности. Армия Чехословакии обладала современным оружием, артиллерией, обученным резервом. Даже ограниченная операция могла очень быстро перестать быть ограниченной, если Франция решит выполнять свои обязательства.

— Генеральный штаб потребует времени на оценку французской реакции.

— Генеральный штаб всегда требует времени.

В голосе Гитлера появилась раздражённая насмешка.

— Потому что его задача — считать.

— Это действительно его задача.

Гитлер взглянул на Кейтеля, и тот впервые за весь разговор позволил себе едва заметную улыбку. Не шутка, но и не вызов — просто напоминание, что армейская карта не меняется от политического желания. Гитлер не улыбнулся.

— Пусть считают. Но пусть не путают расчёт с правом определять политику государства.

Эта фраза была важнее всего, что прозвучало до неё. Кейтель это почувствовал. Он подумал о Беке. Начальник Генерального штаба сухопутных войск почти наверняка воз-

разит. Не потому, что любит Чехословакию, и не потому, что стал противником национал-социалистического государства. Бек просто будет считать: Францию, Чехословакию, Британию, состояние германской армии, количество боеприпасов, пропускную способность дорог, мобилизационные сроки. И чем больше он будет считать, тем менее убедительной покажется ему мысль о лёгкой победе. Гитлер уже заранее раздражался на этот будущий расчёт.

— Вы хотите привлечь Бека сейчас? — спросил Кейтель.

Гитлер поморщился.

— Пока подготовьте основания.

— Без Генерального штаба?

— Я сказал — основания. Не операционный план.

Кейтель кивнул.

— Понимаю.

— Нет. Пока ещё нет.

Гитлер подошёл почти вплотную.

— Я не говорю, что война должна начаться завтра. Я говорю, что с этого момента Германия не должна зависеть от того, согласится ли Прага выполнить наши требования.

Кейтель молчал.

— Если она согласится — хорошо.

— А если согласится на всё?

На этот раз вопрос прозвучал почти неожиданно. Гитлер несколько секунд смотрел на него.

— На всё она не согласится.

— Почему вы так уверены?

Гитлер снова перевёл взгляд на карту.

— Потому что тогда мы потребуем больше.

Кейтель не сразу понял, шутка это или нет. По лицу Гитлера определить было невозможно.

* * *

В тот же день Людвиг Бек работал в своём кабинете дольше обычного. Он ещё не знал всех подробностей разговора между Гитлером и Кейтелем, но общий характер движения чувствовал уже давно. На его столе лежали сведения о чехословацких вооружённых силах: таблицы, количество соединений, мобилизационные возможности, артиллерия, авиация, фортификационные районы, запасы, железнодорожная сеть. Каждая цифра сама по себе была сухой. Вместе они складывались в предупреждение. Дверь открылась после короткого стука. Вошёл один из офицеров оперативного отдела.

— Что у вас?

Офицер положил папку на стол.

— Последняя сводка по чехословацким укреплениям.

— Последняя до следующей.

— Скорее всего.

Бек посмотрел на него поверх очков.

— Это была попытка пошутить?

— Неудачная, господин генерал.

— Тогда садитесь.

Офицер сел. Бек открыл папку. Несколько минут он читал молча, потом остановился на схеме укреплённого района.

— Насколько свежи эти сведения?

— Часть за март, часть старше.

— Значит, часть уже бесполезна.

— Не совсем.

Бек поднял глаза.

— В фортификации слово «не совсем» означает, что вы не знаете.

Офицер помолчал.

— Мы знаем направления строительства.

— Направление строительства не стреляет.

Бек снова посмотрел на документ.

— Какие части предполагается использовать против этого сектора?

— Пока никаких предположений официально нет.

— Неофициально?

Офицер чуть изменился в лице.

— Сегодня из ОКВ запрашивали дополнительные материалы по Чехословакии.

Бек отложил карандаш.

— Какие именно?

— Коммуникации. Возможные направления сосредоточения. Сроки развёртывания.

— Кто запросил?

— Через аппарат Кейтеля.

Этого оказалось достаточно. Бек откинулся в кресле.

— Значит, началось.

— Что именно?

— Пока ещё ничего. В этом и проблема.

Офицер не понял. Бек встал и подошёл к карте.

— Вы были в Австрии?

— Нет.

— Читали отчёты о марше?

— Да.

— И какое впечатление?

Офицер замялся.

— Политически операция прошла успешно.

Бек медленно повернул голову.

— Я спросил не о политике.

— Были задержки. Поломки. Нарушения графика движения. Но сопротивления не оказалось.

Бек кивнул.

— Именно. Представьте теперь, что вместо цветущих девушек у дороги стоит противотанковое орудие.

Офицер промолчал.

— Представили? Хорошо. Теперь добавьте укреплённый рубеж. Потом мобилизованную армию. Потом Францию на западе.

— Мы не знаем, вступит ли Франция.

— А вы хотите строить войну на том, что она, возможно, не вступит?

— Нет.

— Вот и я не хочу.

Бек снова сел.

— Запомните одну вещь. Политик может позволить себе исходить из наиболее вероятного поведения противника. Генеральный штаб обязан учитывать наиболее опасное.

Офицер осторожно спросил:

— Вы считаете, что речь действительно идёт о войне?

Бек посмотрел на папку, которую тот принёс.

— Когда у вас спрашивают, сколько поездов понадобится для переброски дивизии, это ещё не война. Но это уже не разговор о правах судетских немцев.

* * *

Позднее, ближе к вечеру, Бек встретился с Вальтером фон Браухичем. Разговор начался без особого напряжения. Так начинаются многие разговоры, которые впоследствии становятся важными. Браухич был человеком совсем другого склада — более осторожным в выражениях, менее склонным доводить профессиональный спор до принципиального столкновения. Он понимал опасения Бека, но почти всегда искал способ оставить открытой возможность отступить. Они сидели напротив друг друга. На столе между ними стоял кофе, к которому никто почти не притронулся.

— Вы уже слышали? — спросил Бек.

— О чём именно?

— Кейтель запросил материалы по Чехословакии.

Браухич едва заметно вздохнул.

— Это ещё ничего не означает.

Бек усмехнулся.

— Вы сегодня второй человек, который говорит мне, что всё ещё ничего не означает.

— А разве означает?

— Сам запрос — нет.

— Тогда в чём проблема?

Бек посмотрел на него спокойно.

— В том, что мы оба прекрасно знаем человека, от которого этот запрос пришёл.

Браухич помолчал.

— Он может использовать военную подготовку как средство давления.

— Может.

— И если давление сработает, войны не будет.

— Может быть.

— Тогда зачем заранее превращать это в катастрофу?

Бек некоторое время ничего не говорил. Он уважал Браухича именно потому, что тот не был глуп. Гораздо легче спорить с глупцом. Разумный человек способен сформулировать ту же ошибку убедительно.

— Потому что однажды давление не сработает.

Браухич пожал плечами.

— Тогда будем решать.

— Когда? Когда дивизии уже будут сосредоточены? Когда

будет отдан приказ?

— Людвиг...

— Когда?

Браухич слегка поморщился.

— Вы всегда идёте на три шага дальше события.

— Это моя работа.

— Ваша работа — планировать войну.

— Нет. Моя работа — сказать, можно ли её выиграть.

В комнате стало тихо. Браухич посмотрел на него внимательнее.

— И вы уже знаете ответ?

— Пока нет.

— Тогда мы спорим о том, чего ещё не существует.

Бек покачал головой.

— Нет. Мы спорим о моменте, когда военный должен начать говорить «нет».

Браухич медленно отодвинул чашку.

— Осторожнее.

— Почему?

— Вы знаете почему.

Бек наклонился вперёд.

— Именно этого я боюсь больше всего.

— Чего?

— Что все знают почему.

Браухич долго смотрел на него. Фраза повисла между ними. Ни один не захотел развить её дальше. Пока. Разго-

вор всё ещё можно было считать профессиональным — обсуждением рисков, спором двух генералов. Но где-то рядом уже находилась другая тема, которой они оба пока избегали. Если политическое руководство действительно приведёт Германию к войне, которую военные считают гибельной, что останется генералам? Подчиниться? Подать в отставку? Или существует ещё что-то между этими двумя действиями? Весной 1938 года этот третий вариант ещё казался почти непроизносимым.

* * *

В Праге тем временем никто не знал, какие именно вопросы задавались в Берлине. Но сама природа кризиса заставляла чехословацкое руководство предполагать худшее. Бенеш вечером принимал нескольких военных. На столе лежали уже знакомые карты. Генерал, докладывавший о южном направлении, несколько раз возвращался к одному и тому же.

— После Австрии нам приходится перераспределять внимание.

Бенеш слушал, не перебивая.

— Насколько это ослабляет западную границу?

— Пока не ослабляет.

— Я спрашивал не «пока».

Генерал коротко взглянул на президента.

— Если Германия сможет использовать территорию бывшей Австрии для развёртывания, нам придётся держать

больше сил на юге.

— Сколько?

— Это зависит от сценария.

Бенеш устало улыбнулся.

— В последнее время всё зависит от сценария.

Другой офицер сказал:

— Главное по-прежнему Судеты.

— Военные укрепления?

— Не только.

Он подошёл к карте.

— Посмотрите, господин президент. Значительная часть оборонительных районов проходит через территории с немецким населением. Если политический кризис там перерастёт во внутренние беспорядки во время мобилизации, армия получит две задачи одновременно.

Бенеш нахмурился.

— Защищать границу и удерживать собственный тыл.

— Да.

— Насколько серьёзна эта опасность?

Офицер ответил не сразу.

— Сейчас я бы сказал — управляемая.

— А через месяц?

— Не знаю.

— Через три?

— Тем более.

Бенеш прошёл к окну. Прага внизу казалась спокойной. В

этом было что-то почти обидное. Город жил обычной жизнью, а люди в этом кабинете уже обсуждали, по каким направлениям могут прийти германские дивизии.

— Что предлагает армия?

— Продолжать укрепление.

— Это я понимаю.

— Ускорить подготовку резервов.

— Ещё?

Наступила пауза. Один из генералов сказал:

— Получить от Парижа ясность.

Бенеш обернулся.

— Военные теперь занимаются дипломатией?

— Нет, господин президент.

— Тогда почему вы это говорите?

— Потому что без Франции военная задача выглядит иначе.

Бенеш несколько секунд смотрел на него. Никакой дерзости в словах генерала не было. Только профессиональная честность. И оттого они раздражали сильнее.

— Вы хотите знать, придут ли французы?

— Да.

— Я тоже.

В комнате никто не улыбнулся. Бенеш вернулся к столу.

— Но если мы начнём публично требовать подтверждения обязательств, что подумают в Берлине?

Генерал ответил:

— Что мы боимся.

— А в Лондоне?

— Что мы готовимся к войне.

— А в Париже?

Тот чуть помедлил.

— Что мы хотим заставить их принять решение раньше, чем они готовы.

Бенеш кивнул.

— Вот теперь вы занимаетесь дипломатией.

Генерал позволил себе слабую улыбку.

— Я начинаю понимать, почему предпочитаю армию.

На этот раз Бенеш усмехнулся.

— В армии приказы хотя бы выполняются?

Офицеры переглянулись.

— Иногда, — сказал один.

Это был короткий момент почти человеческого облегчения. Потом Бенеш снова стал серьёзен.

— Мы не можем первым шагом превратить судетский кризис в европейскую войну.

— А если Германия сделает это первой?

— Тогда всё будет зависеть от того, поверят ли в Лондоне и Париже, что мы сделали всё возможное, чтобы этого избежать.

Генерал покачал головой.

— Значит, прежде чем защищать границу, мы должны доказать, что имеем право её защищать.

Бенеш посмотрел на него.

— В Европе сейчас именно так.

И это, возможно, было самым тяжёлым признанием за весь вечер.

* * *

В Берлине поздно ночью Кейтель снова просмотрел сделанные заметки. На одном листе уже стояло старое обозначение, использовавшееся для планирования действий против Чехословакии: план «Грюн» — «Зелёный». Цвет ничего не означал. Военные планы любят нейтральные названия. Они нужны именно для того, чтобы не писать на папке то, что в ней находится. Не «нападение», не «оккупация», не «война». Просто цвет. Кейтель провёл пальцем по краю бумаги. Пока это действительно был только план. Ни одного солдата не подняли по тревоге. Ни один самолёт не получил боевой цели. Ни один артиллерист не зарядил орудие. На границе всё было спокойно. В Праге рестораны закрывались после обычного вечера. В Париже депутаты спорили о своих делах. В Лондоне читали вечерние газеты. В Судетской области готовились к партийным собраниям. Но где-то именно сегодня произошло изменение, которое невозможно было увидеть с улицы. До этого Чехословакия была политической проблемой. Теперь она снова становилась военной задачей. Самое страшное в подобных переходах состоит в том, что они почти никогда не сопровождаются звуком. Никто не слышит момента, когда дипломатический спор превраща-

ется в штабную папку. Не грохочут орудия. Не воют сирены. Просто офицер получает распоряжение. Другой приносит карту. Третий рассчитывает расстояние. И однажды оказывается, что война, которой ещё нет, уже получила название.

Зелёный.

Глава 4. Карлсбадские требования

24 апреля 1938 года

Карлсбад в конце апреля выглядел почти неприлично спокойным. Курортный город не умел выглядеть иначе: минеральные источники продолжали давать воду, гостиницы открывали окна после зимы, на улицах появлялись первые весенние посетители, а колоннады сохраняли ту неторопливую элегантность, которая плохо сочеталась с политическими речами, партийной символикой и людьми в одинаковых рубашках. В другое время сюда приезжали лечить желудок, нервы и сердце. Теперь здесь собирались люди, которые собирались говорить о государстве. Улицы постепенно заполнялись участниками съезда Судетской немецкой партии. Они приезжали поездами, автобусами, автомобилями из городов и посёлков пограничных районов, привозя с собой партийные значки, знамёна, листовки и ощущение, что после марта мир изменился. Ещё несколько месяцев назад многие из них говорили о правах немецкого меньшинства. Теперь само слово «меньшинство» всё чаще раздражало. Почему они должны

считать себя меньшинством, если всего в нескольких километрах от границы существовала Германия, ставшая после присоединения Австрии ещё больше? Почему немец, живущий в Эгере или Райхенберге, должен принимать решения правительства в Праге, если немец из Линца теперь принадлежит к рейху?

Подобные вопросы редко возникают сами собой. Обычно кто-то помогает им обрести простую форму. Конрад Генлейн умел это делать. Он приехал в Карлсбад уже не тем политиком, каким был ещё год назад. Тогда ему приходилось доказывать, что Судетская немецкая партия представляет реальную политическую силу. Теперь доказывать ничего не требовалось. За партией стояли голоса сотен тысяч людей, а за спиной самого Генлейна находилась Германия. Но именно это делало его положение сложнее: покровительство Берлина давало силу и одновременно отнимало свободу. После встречи с Гитлером 28 марта он слишком хорошо понимал, что от него теперь ожидают не просто хорошего результата на переговорах с Прагой. От него ожидали кризиса. Генлейн стоял перед зеркалом в гостиничном номере и поправлял воротник рубашки. В дверь постучали.

— Войдите.

Появился Карл Герман Франк. Он вошёл быстро, с папкой в руке и тем выражением лица, которое Генлейн уже научился узнавать: Франк был недоволен чем-то ещё до того, как успевал начать разговор.

— Зал почти заполнен.

— Это хорошо.

— Люди ждут большего, чем очередной речи о равноправии.

Генлейн продолжал поправлять галстук.

— А что именно они ждут?

Франк усмехнулся.

— Вы прекрасно знаете.

— Я хочу услышать, как это сформулируете вы.

— Они хотят знать, когда Прага перестанет распоряжаться нами.

Генлейн посмотрел на него через зеркало.

— Сегодня?

— Почему нет?

— Потому что сегодня мы ещё являемся гражданами Чехословакии.

Франк пожал плечами.

— Это можно исправить.

Генлейн повернулся.

— Карл. Именно поэтому ты не будешь выступать вместо меня.

Франк улыбнулся, но в улыбке не было веселья.

— Иногда мне кажется, что вы всё ещё хотите договориться с чехами.

— Иногда мне кажется, что ты слишком хочешь, чтобы они отказали.

— А разве не этого от нас ждут?

Вопрос прозвучал слишком прямо. Из коридора доносились шаги, голоса, хлопанье дверей. Где-то этажом ниже уже собирались представители партийных организаций.

— От нас ждут результата, — сказал Генлейн.

— В Берлине?

— Везде.

Франк прищурился.

— Это не одно и то же.

— Именно поэтому я сказал «везде».

Генлейн взял со стола лист с окончательным текстом выступления.

— Всё оставили? — спросил Франк.

— Да.

— Даже признание немецкого мировоззрения?

— Особенно его.

Это был один из тех пунктов, значение которых человек мог не понять, если прочитать только формулировку. «Свобода исповедовать немецкое мировоззрение» могла звучать почти безобидно — как право народа сохранять свою культуру и политические убеждения. Но весной 1938 года в Германии уже пять лет существовал национал-социалистический режим, где свободы политического мировоззрения давно не было. Требование признать за судетскими немцами право на «немецкое мировоззрение» открывало возможность легализовать внутри Чехословакии принципы государ-

ства, которое отрицало демократический строй самой Чехословакии.

— Прага уцепится за этот пункт, — сказал Генлейн.

— Пусть.

— Лондон тоже.

— А Лондон голосует на наших выборах?

— Нет. Но Лондон может решить, кто виноват в кризисе.

Франк нетерпеливо махнул рукой.

— Вы слишком много думаете о британцах.

— Потому что в Берлине о них тоже думают.

Генлейн подошёл ближе.

— Мы не должны выглядеть людьми, которые хотят войны.

— А если мы её хотим?

— Ты хочешь?

Франк не ответил сразу.

— Я хочу, чтобы с Прагой было покончено.

— Это не ответ.

— А у вас есть другой?

Генлейн положил лист на стол.

— Я хочу, чтобы Прага оказалась в положении, когда любой её ответ будет плохим.

Франк медленно улыбнулся.

— Вот теперь узнаю вас.

Генлейн не улыбнулся в ответ. Возможно, потому, что сам не был уверен, нравится ли ему то, что он только что сказал.

* * *

В Пражском граде ещё до начала речи знали основные направления, по которым Генлейн собирается атаковать правительство. Милан Годжа приехал к Бенешу раньше назначенного времени. Президент уже сидел за столом. Перед ним лежали проекты уступок, над которыми правительство работало последние недели.

— Похоже, он решил не ждать наших предложений, — сказал Годжа.

— У него съезд. Он обязан что-то сказать.

— Я боюсь не того, что он скажет. Я боюсь, что нам придётся отвечать.

Бенеш едва заметно улыбнулся.

— Обычно так и происходит в политике.

— Не в этой.

Последние недели переговоров с представителями немецкого населения отнимали больше сил, чем обычная правительственная работа. Каждая попытка выяснить конкретные требования Судетской немецкой партии приводила к новым формулировкам.

— Мы подготовили предложения. Они знают это. Значит, могли подождать.

— Значит, не хотят.

Годжа некоторое время молчал.

— Вы считаете, решения уже принимают не они?

Бенеш снял очки.

— Я считаю, что после марта трудно провести границу между тем, чего хочет Генлейн, и тем, чего хочет Берлин.

— Тогда зачем вообще продолжать переговоры?

— Потому что если мы прекратим их первыми, через два дня вся Европа будет читать, что Прага отказалась обсуждать права трёх миллионов немцев.

— А если они каждый раз будут выдвигать новые требования?

— Тогда это должны увидеть не только мы. Лондон, Париж и все остальные, кому пока кажется, что речь идёт о споре, который можно решить разумным компромиссом.

— А если они решат, что разумный компромисс — именно то, чего требует Генлейн?

Бенеш снова надел очки.

— Тогда у нас будет другая проблема.

Годжа взял один из проектов.

— Мы готовы значительно расширить использование немецкого языка. Готовы обсуждать административное представительство. Готовы пересмотреть финансирование районов. Что ещё?

Бенеш не ответил.

— Иногда мне кажется, — продолжил Годжа, — что мы торгуемся с человеком, который не называет цену, потому что не собирается продавать.

— Возможно.

— И вы всё равно хотите продолжать?

— Именно поэтому.

* * *

К полудню зал в Карлсбаде был переполнен. Когда Генлейн поднялся на трибуну, шум постепенно стих. Он умел выступать иначе, чем Гитлер: не обладал той же театральностью, не превращал каждую паузу в демонстрацию власти, но говорил перед людьми, многие из которых уже считали его своим представителем. Ему не нужно было завоёвывать их. Нужно было дать их недовольству форму. Сначала речь шла о несправедливостях и положении немецкого населения, о том, что двадцать лет после создания Чехословакии не привели к подлинному национальному равенству. Генлейн требовал полного равенства немецкой национальной группы с чешским народом. Само по себе это требование трудно было назвать экстремистским. Сложность начиналась там, где возникал вопрос, что именно означает равенство на практике. Следующим требованием было признание судетских немцев как самостоятельной группы, затем — точное определение и признание территории их расселения. Потом Генлейн заговорил о самоуправлении. Не употребляя некоторых слов слишком прямолинейно, он двигался к сути: территория с немецким большинством должна получить возможность управлять собой настолько широко, насколько это вообще можно было совместить с существованием единого государства. Но каждый следующий пункт делал это существование всё более условным.

Немецкие служащие должны были обслуживать немецкие районы. Нужно было устранить последствия несправедливостей после 1918 года. Следовало обеспечить экономическую поддержку немецких областей. А затем прозвучал пункт о свободе исповедовать немецкое мировоззрение. На этих словах зал ответил особенно громко. Генлейн выдержал паузу, глядя на лица людей, которые вставали и поднимали руки. Возможно, именно тогда ему особенно ясно стало, насколько далеко партия ушла от движения, которое ещё несколько лет назад можно было представить просто как представительство интересов национального меньшинства. Многие в зале уже не только требовали прав внутри Чехословакии. Они смотрели через границу и видели там будущее. Последним требованием стало изменение внешней политики Чехословакии — отказ от курса, который судетские немцы считали враждебным германскому народу. Здесь внутренний спор окончательно выходил за рамки внутреннего: партия граждан Чехословакии фактически требовала пересмотра международной ориентации собственного государства. Когда Генлейн закончил, аплодисменты были долгими. Франк хлопал, глядя не на оратора, а на людей вокруг. Его интересовала реакция. Она была именно такой, какой он хотел.

Текст речи оказался в Праге раньше, чем успели разойтись последние участники съезда. В правительственном кабинете его читали несколько человек. Бенеш сидел у конца

стола, Годжа — напротив. Один из чиновников закончил читать и положил лист.

— Это автономия.

— Нет, — сказал другой. — Если реализовать всё вместе — это государство внутри государства.

— Не преувеличивайте.

— Своя территория. Собственное управление. Национальный состав государственной службы. Экономические полномочия. Возможность исповедовать политическую идеологию рейха. И влияние на внешнюю политику страны.

— Последний пункт сформулирован иначе.

— Но смысл именно такой.

Бенеш молчал. Он читал текст уже второй раз.

— Некоторые требования мы можем принять, — сказал один из министров.

— Конечно, можем, — ответил Годжа. — В этом и проблема. Если бы он потребовал присоединения Судет к Германии, всё было бы просто. Мы ответили бы «нет», и даже Лондон понял бы почему. А теперь половина каждого пункта звучит разумно.

Бенеш поднял голову.

— Именно. Равноправие национальностей? Мы не можем возражать. Более справедливое представительство немцев в администрации? Обсуждаемо. Экономическая помощь районам, пострадавшим от кризиса? Нужна независимо от Генлейна. Более широкое местное самоуправление? Возможно.

— Но территориальное разделение...

— Я знаю.

— И «немецкое мировоззрение».

— Я знаю.

— И внешняя политика.

Бенеш посмотрел на говорившего.

— Я сказал: я знаю.

Голос впервые стал резче.

— Поэтому нам нельзя отвечать на эту речь как на ультиматум. Именно этого он, возможно, и ждёт. Нужно отвечать по пунктам и заставить их объяснить, что именно они требуют. До последней административной детали.

Годжа понял первым.

— Где проходит территория. Какие полномочия остаются у центрального правительства. Кто управляет полицией. Кто отвечает за укрепления. Налоги, суд, образование.

— И армия, — сказал Бенеш. — Особенно армия.

— Они не ответят, — заметил один из чиновников. — Потому что тогда придётся признать, чего они хотят.

Бенеш снова взял лист.

— Возможно, именно поэтому и нужно спросить.

* * *

Вечером германский посланник в Праге просматривал первые реакции чехословацкой стороны. Ему не требовалось официально вмешиваться. Требования Судетской немецкой партии следовало поддерживать как разумные — осторожно,

в частных беседах, избегая впечатления, что Берлин диктует Генлейну каждую формулировку. Слишком открытая поддержка Германии могла разрушить главное преимущество Генлейна: способность утверждать, что речь идёт о внутреннем конфликте между чехословацким государством и его немецкими гражданами. Слишком слабая поддержка оставляла Праге пространство для компромисса. Нужно было сделать так, чтобы немецкие требования выглядели естественными, а отказ от них — упрямством чехов. В первых сообщениях говорилось, что чехословацкое правительство пока не собирается отвергать программу целиком. Если Прага начнёт уступать, придётся смотреть, насколько далеко она готова зайти. Если зайдёт слишком далеко, возникнет неудобная проблема: она может действительно договориться с Генлейном. В Берлине именно этого и не хотели. Гитлер прочитал содержание речи без особого удивления. Его больше интересовало, как отреагирует Прага. Риббентроп находился рядом.

— Они пока осторожны, — сказал он.

— Это плохо.

— Плохо?

— Если они откажут сразу, всё станет проще.

— Но отказ даст им возможность утверждать, что требования чрезмерны. В Лондоне это может сработать.

Гитлер посмотрел на него раздражённо.

— В Лондоне всегда что-то «может сработать». Чембер-

лен хочет мира. Французы хотят его ещё больше. Поэтому Прага должна выглядеть виноватой.

— Если она начнёт принимать требования?

Гитлер усмехнулся.

— Тогда будут другие.

Риббентроп внимательно посмотрел на него.

— То есть соглашение не является целью?

— Целью является решение проблемы Чехословакии.

— Это не совсем ответ.

В комнате стало тихо.

— Вы хотите знать, согласился бы я на настоящее урегулирование судетского вопроса внутри Чехословакии?

— Да.

Гитлер подошёл к карте.

— Нет.

— Почему?

— Потому что Судеты — не проблема.

Он указал на карту целиком.

— Вот проблема.

Риббентроп ничего не сказал. В этом жесте заключалось больше, чем в дипломатическом документе. Гитлер не хотел исправить положение судетских немцев. Он хотел изменить карту.

* * *

В тот вечер Карлсбад продолжал жить обычной жизнью курортного города. В гостиничных ресторанах играли му-

зыканты. Люди обсуждали речь Генлейна за столиками и в холлах. Одни были возбуждены, другие напуганы. Некоторые говорили, что наконец-то немцы сформулировали то, чего хотят. Другие спрашивали, можно ли выполнить эти требования и сохранить Чехословакию прежней. В одном из ресторанов спорили двое мужчин. Один был владельцем небольшой мастерской, другой преподавал в гимназии. Оба были немцами.

— Что плохого в том, чтобы нами управляли наши люди? — спросил первый.

— Ничего.

— Тогда в чём проблема?

— В том, кто такие «наши».

— Немцы.

Учитель покачал головой.

— Я тоже немец.

— Тогда вы должны понимать.

— Именно поэтому понимаю.

— Что?

— Что Берлин не спрашивает меня, каким немцем я хочу быть.

Собеседник усмехнулся.

— Вы слишком боитесь Гитлера.

— А вы слишком им восхищаетесь.

— Он вернул Германии достоинство. Австрию. Работу.

— Многим.

— Тогда что вам не нравится?

Учитель посмотрел через окно на улицу, где проходила группа молодых партийных активистов.

— То, что за каждое его достижение нужно платить правом не соглашаться с ним.

— Мы не в Германии.

— Пока.

На этом разговор закончился. Не потому, что один убедил другого. Просто существовали слова, после которых лучше было остановиться. И таких разговоров становилось всё больше. Государство начинало раскалываться задолго до появления линии фронта.

* * *

Поздно вечером Бенеш ещё раз перечитал текст карлсбадской речи. Через некоторое время вошёл Годжа.

— Вы действительно думаете, что можем договориться?

Президент положил карандаш.

— Я думаю, что обязаны попытаться.

— Это не одно и то же.

— Нет.

— С Генлейном?

— Возможно.

— С Берлином?

Бенеш посмотрел на него.

— Вот в этом я уже не уверен.

— А если Генлейн и Берлин теперь одно и то же?

— Тогда мы должны сделать так, чтобы это стало очевидно не только нам.

Годжа поднялся и у двери остановился.

— Иногда мне кажется, что мы пытаемся выиграть не переговоры, а право сказать потом, что это были не мы.

Бенеш долго молчал.

— Иногда, Милан, это и есть всё, что маленькое государство может выиграть до того, как великие державы решат, стоит ли оно войны.

Когда премьер ушёл, президент остался один. На столе перед ним лежали восемь требований. Каждое можно было обсуждать, толковать, смягчить новой формулировкой. И именно поэтому они были опасны. Ультиматум легко узнать: он приходит с коротким сроком и ясной угрозой. Гораздо труднее защищаться от требования, которое выглядит приглашением к переговорам, но составлено так, чтобы переговоры никогда не закончились. За окнами Пражского града город уже спал. До войны оставалось больше года. До Мюнхена — пять месяцев. До майского кризиса — меньше четырёх недель. Но механизм уже начал работать. В Берлине ждали, когда Прага скажет «нет». В Праге старались не говорить «нет» слишком рано. А между этими двумя намерениями постепенно исчезало пространство, в котором ещё можно было сказать: «договорились».

Глава 5. Генерал против карты

25 апреля — 19 мая 1938 года

Людвиг Бек не любил карты, на которых было слишком много стрелок. Не потому, что они казались ему бессмысленными. Напротив — он всю жизнь работал именно с такими картами и слишком хорошо знал, сколько труда требуется, чтобы тонкая цветная линия действительно превратилась в движение корпуса, дивизии или армии. Его раздражало другое: стрелка всегда выглядела увереннее людей, которым предстояло по ней идти. Она не ломалась, не уставала, не теряла связь, не попадала под артиллерийский огонь, не останавливалась перед разрушенным мостом. На бумаге стрелке никогда не заканчивалось горючее. Поэтому Бек всегда начинал смотреть не туда, куда она указывала, а туда, откуда должна была начаться: сколько частей, какой резерв, какие дороги, какое снабжение, какая противовоздушная защита, что делает противник, что происходит на другом фронте. И только потом его интересовало красивое движение карандаша по карте. Утром 26 апреля на одном из столов Генерального штаба лежала именно такая карта. Чехословакия. Зелёным карандашом были обозначены укреплённые районы, красным — предполагаемые направления германского сосредоточения, синим — железные дороги и крупные узлы.

Бек вошёл, снял перчатки и остановился перед столом. Несколько офицеров уже ждали.

— Кто рисовал?

Молодой подполковник чуть выпрямился.

— Оперативный отдел, господин генерал.

— Это я вижу. Я спрашиваю, кто решил, что здесь можно провести корпус.

— Мы исходили из дорожной сети и данных разведки.

— Какой разведки?

— За март.

Бек посмотрел на него.

— В марте Австрия ещё не была частью рейха.

— Поэтому южное направление нанесено отдельно.

— Я говорю не о южном направлении. Вот здесь.

Он постучал пальцем по западному участку чехословацкой границы.

— Эгерский район.

— Именно.

— Дороги позволяют...

— Дороги позволяют двигаться по ним в мирное время. Мне интересно, позволяют ли они двигаться, когда вот эти люди...

Бек указал на чехословацкие укрепления.

— ...решат, что мы пришли к ним не на экскурсию.

Подполковник замолчал. Бек не повышал голоса. Это делало подобные разборы ещё неприятнее. Когда начальник кричит, подчинённый хотя бы может объяснить часть его раздражения характером. Спокойный вопрос оставляет только содержание.

— Переделать. И не рисуйте стрелку до Праги, пока не

знаете, что произойдёт на первых двадцати километрах.

Он уже хотел отойти, но задержался.

— И ещё. На следующей карте нанесите французскую границу.

Кто-то удивлённо поднял глаза.

— Это карта Чехословакии, господин генерал.

— Именно поэтому нанесите Францию.

В кабинете его уже ждали бумаги: доклады о Судетской немецкой партии, сведения об укреплениях, оценки мобилизационных возможностей Чехословакии, материалы по Франции. Каждый документ рассматривал отдельный вопрос. Ни один не отвечал на главный: можно ли локализовать войну? Бек всё чаще возвращался именно к этой формулировке. Не может ли Германия победить Чехословакию — этот вопрос был слишком прост. Если оставить её одну, исключить Францию, Британию и Советский Союз, предположить удобные политические обстоятельства, германское превосходство в конечном счёте могло решить дело. Но государства не воюют в пустоте, особенно государства в центре Европы. Германия могла напасть на Чехословакию. Но могла ли она заставить Францию остаться в стороне? Рассчитывать на британский нейтралитет? Быть уверенной, что Польша ограничится собственными территориальными интересами? Что сделает Советский Союз? Насколько надёжна Италия? Между фразами «Франция не хочет войны» и «Франция не вступит в войну» лежала пропасть, через кото-

рую Гитлер, судя по всему, собирался перейти одним шагом.

В дверь постучали. Вошёл генерал-квартирмейстер.

— Есть минут десять?

— Если принесёте хорошие новости, дам пятнадцать.

— Тогда пяти хватит.

Он положил перед Беком предварительную оценку по развёртыванию.

— Сколько здесь допущений? — спросил Бек.

— Много.

— Тогда почему документ такой короткий?

— Остальные не поместились.

На этот раз в кабинете мелькнула улыбка.

— Что вас тревожит больше всего?

— Запад. Если французы останутся за линией Мажино, мы можем сосредоточить большую часть сил на востоке.

— А если не останутся?

— Тогда становится неприятно.

— «Неприятно»?

— Вы просили не писать драматических формулировок.

— В документах. В кабинете можете говорить человеческим языком.

Генерал помолчал.

— Тогда плохо. Если Франция предпримет серьёзное наступление одновременно с операцией против Чехословакии, нам придётся выбирать, где быть слабее.

— А если Великобритания вступит вслед за Францией?

— Тогда вопрос уже не в Чехословакии.

— Вот именно.

Бек встал и подошёл к окну.

— А в канцелярии всё ещё думают о ней как об отдельной операции.

— Вы уверены?

— Нет. Это ещё хуже. Возможно, там считают, что достаточно правильно давить — и войны не будет.

— До сих пор это работало.

Бек ничего не сказал. Фраза была неприятна именно потому, что являлась правдой. Рейнская область. Австрия. Каждый раз осторожные люди предупреждали о последствиях. Каждый раз Гитлер рисковал. Каждый раз противник отступал.

— До сих пор, — повторил Бек.

— Вы считаете, на Чехословакии всё изменится?

— Я считаю, что никто не имеет права строить политику государства на предположении, что не изменится.

* * *

В конце апреля вопрос, который Бек ставил на картах, одновременно обсуждали в Лондоне и Париже без участия немцев. Французская делегация приехала в Британию не для того, чтобы получить красивое заявление о дружбе. Даладье и Бонне требовалось понять, что именно означает британская формула «не можем быть безразличны» в тот день, когда французский договор с Чехословакией перестанет быть

дипломатическим текстом и станет приказом армии. Перед встречами Чемберлен отдельно обсуждал с Галифаксом и Кадоганом предел британских обязательств. Давать Праге прямую военную гарантию он не хотел. Но оставить Францию в уверенности, что в случае германского нападения она может оказаться совершенно одна, тоже было опасно: тогда Париж либо откажется от договора и разрушит собственную союзную систему, либо начнёт войну в условиях, которые Лондон не сможет контролировать.

Британская позиция поэтому формулировалась намеренно не как автоматическое обещание Чехословакии, а как предупреждение о связи британской безопасности с французской. Если Германия своим нападением втянет Францию в войну, Британия не сможет рассматривать происходящее как далёкий центральноевропейский конфликт. Для Чемберлена такая формула сохраняла свободу решения. Для французов она была минимальным основанием строить расчёты. В Лондоне рассчитывали, что этой неопределённости достаточно, чтобы удержать Берлин от уверенности в безнаказанности, но недостаточно, чтобы Прага решила, будто может отказаться от компромисса, заранее имея за спиной две великие державы.

* * *

После возвращения в Париж Даладье оценивал встречи не как полученную гарантию, а как важное изменение. Британцы по-прежнему не обещали воевать за каждую чехословац-

кую границу. Но они уже признавали, что французские обязательства создают ситуацию, от которой Британия не сможет отгородиться. Бонне видел в этом возможность сильнее давить на Прагу: если Лондон и Париж действуют вместе, чехословацкое правительство должно прислушиваться к их советам. Даладье делал другой вывод. Совместное влияние на Прагу имеет смысл только тогда, когда такое же давление существует на Берлин. Иначе союз превращается в механизм, при котором Франция обещает защищать Чехословакию, а затем использует это обещание главным образом для того, чтобы заставить чехов уступать.

Никакого окончательного решения не было. Но после апрельских разговоров Лондон и Париж уже думали друг о друге как о частях одной будущей развилки. Франция не хотела воевать без Британии. Британия не хотела заранее обещать войну, но понимала, что французское поражение или отказ Франции от обязательств одинаково изменят европейский баланс. Поэтому, пока в Берлине рисовали стрелки на Чехословакию, две западные столицы пытались решить собственную задачу: как сделать угрозу вмешательства достаточно правдоподобной для Гитлера и одновременно не превратить её в автоматический запуск войны.

В первых числах мая Бек снова пришёл к Браухичу. На этот раз с папкой.

— Людвиг, если вы каждый раз будете приходить ко мне с бумагами, я начну вас не принимать.

— Без папки вы скажете, что это только моё впечатление.

— А с папкой?

— С папкой вам придётся искать другой ответ.

Бек подошёл к большой карте на стене.

— Я хочу, чтобы вы посмотрели на это не как главнокомандующий сухопутными войсками, а как человек, которому, возможно, придётся объяснить государству, почему армия оказалась в войне, к которой была не готова.

— Мы опять начинаем с конца.

— Потому что начало вам нравится больше.

— Что вы хотите от меня?

— Чтобы вы поговорили с Гитлером.

— О Чехословакии?

— О том, готов ли он остановиться, если Прага не уступит.

Браухич нахмурился.

— Он может использовать военную подготовку как средство давления. Если давление сработает, войны не будет.

— И я в это верю. Но вы не слышите вторую половину: если не сработает, готов ли он остановиться?

Браухич молчал.

— Вот что нужно выяснить.

— А если он сам ещё не знает?

— Тогда опаснее вдвойне.

Главнокомандующий нервно прошёлся по комнате.

— Вы хотите, чтобы я явился к фюреру и спросил, соби-

рается ли он начать европейскую войну?

— Да. Можете сформулировать вежливее.

— Если каждый раз, когда Гитлер рассматривает силовой вариант, армия начнёт требовать политических объяснений, он решит, что мы вмешиваемся туда, куда нам не положено.

— А если не потребуем, он решит, что мы готовы выполнить всё.

— Мы армия.

— Именно.

Браухич раздражённо бросил:

— И что это должно означать?

Бек ответил не сразу.

— Пока я пытаюсь понять.

— Вы начинаете говорить не как начальник Генерального штаба.

— А как кто? Как гражданин? Разве мне запрещено им быть?

— В форме многое запрещено.

Бек посмотрел на него долго.

— Тогда, возможно, однажды придётся решить, что важнее: форма или государство.

Разговор зашёл туда, куда оба пока не хотели заходить. Через несколько секунд Браухич сказал спокойнее:

— Я поговорю.

— Когда?

— Когда появится повод.

Бек взял папку.

— Повод никогда не приходит с табличкой.

* * *

Тем временем в Польше за происходящим вокруг Чехословакии наблюдали с собственным расчётом. Старый спор вокруг Тешинской области никуда не исчез. В Берлине такие противоречия фиксировали внимательно. Государство легче изолировать, когда его соседи сначала вспоминают собственные претензии, а уже потом думают, что его исчезновение будет означать для них самих. На одной из штабных встреч Бек спросил:

— Что сделает Польша?

— Если начнётся германо-чехословацкий конфликт?

— Нет. Если начнётся европейский.

— Варшава вряд ли выступит ради Чехословакии. Возможно, попытается получить Тешин.

— Значит, польский фактор работает в нашу пользу? — спросил другой офицер.

— Тактически — может быть. Но если Чехословакия исчезнет, кто станет следующим государством между Германией и Советским Союзом, которое достаточно велико, чтобы иметь собственные интересы?

— Польша.

— Вот именно.

Бек не хотел превращать штабной анализ в моральную оценку Варшавы. В документ он велел записать иначе: поль-

ская политика будет определяться собственными территориальными и стратегическими интересами, а не желанием сохранить Чехословакию.

* * *

В Праге начало мая прошло под знаком переговоров, которые всё больше напоминали попытку удержать воду в ладонях. На одном из совещаний генерал, присутствовавший как представитель армии, слушал политиков почти час, прежде чем вмешаться.

— Кто будет командовать полицией в автономных районах?

— До автономии мы ещё не дошли, — ответил один из министров.

— Вы обсуждаете расширенное самоуправление. Если начнётся мобилизация, кто обеспечивает железные дороги, охраняет военные склады, регулирует движение, арестовывает подозреваемого в саботаже?

— Вы уже исходите из войны.

— Я обязан.

— А мы пытаемся её избежать.

— Тогда объясните, как ваши уступки будут работать, если избежать её не удастся.

Бенеш поднял взгляд.

— Генерал, если мы не предложим судетским немцам реальные изменения, международное положение страны ухудшится.

— Я не спорю. Но реальные уступки меняют не только политическое настроение. Они меняют управление территорией, на которой находится наша оборона.

Один из министров резко сказал:

— Нельзя управлять миллионами граждан так, словно они потенциальные диверсанты, только потому, что у нас там укрепления.

— А из ваших слов следует, что укрепления должны притвориться, будто не находятся там, где находятся.

Бенеш поднял руку.

— Вот поэтому решение и трудно. Если бы правы были только вы или только он, мы закончили бы за десять минут. Но вы оба правы.

Никому за столом от этого не стало легче.

* * *

В Судетской области карлсбадская программа постепенно переставала быть текстом и становилась способом различать своих и чужих.

— Вы за восемь пунктов?

Вопрос звучал почти невинно, но ответ всё чаще определял, с кем человек сидит за столом, кому доверяет и какую газету покупает. В одном промышленном городке хозяин небольшого магазина вечером закрыл дверь раньше обычного. Его жена складывала выручку в ящик. На противоположной стороне улицы молодые люди развешивали афиши Судетской немецкой партии.

— Фриц сегодня сказал, что учитель спросил детей, на каком языке они говорят дома, — сказала она.

Муж поднял голову.

— Чешский учитель?

— Немецкий.

Это насторожило его сильнее.

— Что ответил Фриц?

— Правду. Что дома мы говорим по-немецки.

Она подошла ближе.

— Скажи мне, ты за Генлейна?

Муж устало вздохнул.

— Я за то, чтобы магазин работал.

— Это не ответ.

— Это единственный ответ, который кормит нас.

— А если потребуют другого?

Он посмотрел через стекло на молодых людей у афиши.

— Тогда придётся придумать.

Такие разговоры не попадали в дипломатические донесения. Но именно из них состояла страна, о судьбе которой спорили правительства.

* * *

В Берлине Бек всё чаще задерживался на работе. Его дочь однажды спросила за ужином, почему он приходит поздно.

— Много дел.

— У начальника Генерального штаба всегда много дел. Но раньше дела не заставляли тебя забывать есть.

Бек посмотрел на тарелку. Он действительно почти не притронулся к ужину.

— Я ем.

— Ты двигаешь еду.

Домашние разговоры раздражали его именно своей точностью. В штабе можно было скрыться за терминами. Дома люди видели усталость и молчание.

— Что происходит?

— Государство становится слишком уверенным в удаче.

— Это военная проблема?

— Скоро может стать.

— Ты боишься войны?

Бек посмотрел на неё. Вопрос был поставлен так прямо, как его не задавали генералы.

— Каждый военный должен бояться войны.

— Странно слышать это от генерала.

— Только человек, который её не видел, считает иначе. Вопрос не в том, боюсь ли я войны. Есть войны, от которых государство не может отказаться.

— А эта?

Бек задержал руку.

— Вот это я и пытаюсь понять.

Он не добавил, что почти уже понял.

* * *

В середине мая Бек получил очередные оценки состояния чехословацкой армии и вызвал двух офицеров.

— Здесь сказано: «при благоприятном политическом развитии операция может быть завершена в ограниченные сроки». Что такое благоприятное политическое развитие?

— Невмешательство Франции.

— Ещё.

— Невмешательство Великобритании. Ограниченная позиция Польши. Советский Союз не получает возможности оказать непосредственную помощь.

Бек кивнул.

— Значит, для успеха военного плана четыре государства должны вести себя так, как нам удобно.

— Если формулировать так...

— Я именно так и формулирую.

Он зачеркнул предложение.

— Военный вывод не должен начинаться словами «если политики всё устроят». Пишите: «Военная операция против Чехословакии не может оцениваться изолированно от вероятности перерастания конфликта в общеевропейский».

— Так жёстче.

— Потому что ситуация жёстче.

— Вы считаете европейскую войну вероятной?

— Достаточно вероятной, чтобы не иметь права её игнорировать. Генеральный штаб существует не для того, чтобы угадывать наиболее приятное будущее.

* * *

Браухич действительно попытался выяснить настроение

Гитлера. Когда они встретились снова, Бек понял результат ещё до первого слова.

— Он не считает войну неизбежной, — сказал Браухич.

— Это я знаю. Я хотел услышать, что он считает её недопустимой.

— Так вопрос не стоял.

— Именно.

— Вы всё время хотите получить абсолютный ответ.

— Потому что война — достаточно абсолютная вещь.

— Политика так не работает.

— Зато мобилизация работает именно так. Либо человек получил повестку, либо нет.

Браухич раздражённо вздохнул.

— Вы превращаете каждое обсуждение в предсказание катастрофы.

— Тогда ответьте на один вопрос. Вы лично считаете, что осенью Германия готова к войне с Чехословакией и Францией одновременно?

Браухич долго не отвечал.

— Нет.

— Спасибо.

— Я не сказал, что такая война начнётся.

— Но если начнётся?

— Тогда будем воевать тем, что есть.

Бек смотрел на него почти с недоверием.

— А что должен сделать главнокомандующий до её нача-

ла?

— Предупредить.

— И если предупреждение проигнорируют?

Снова тишина.

— Вы задаёте вопрос, на который пока не обязаны отвечать.

— Нет. Мы просто надеемся, что не обязаны. Но момент, когда ответ потребуется, не будет спрашивать, готовы ли мы.

* * *

К 19 мая по Европе начали ходить тревожные слухи. В Прагу поступали сообщения о возможных германских передвижениях у границы. Одни выглядели серьёзно, другие противоречили им. Дипломаты спрашивали военных. Военные — разведку. Разведка отвечала с оговорками. Это было то состояние, которое особенно опасно между государствами, уже ожидающими худшего: не факт, не приказ, не нападение — подозрение. Поздним вечером дежурный офицер принёс Беку очередное сообщение.

— Подтверждение есть?

— Пока нет. Но слишком много похожих слухов.

— Слухи не становятся разведданными от количества.

Офицер не уходил.

— Чехи, похоже, тоже получают сообщения о наших передвижениях.

— Каких передвижениях?

— В том-то и дело. Мы не видим концентрации, соответ-

ствующей подготовке операции. Но они считают, что видят.

Бек встал.

— Соедините меня с оперативным отделом. Узнайте всё, что можете, о чехословацких мерах. Без предположений. Что реально делают части.

Когда офицер вышел, Бек остался перед картой один. На этот раз на ней не было стрелок. Только границы. Он подумал, что, возможно, это ещё хуже. Стрелку рисует человек. Граница уже существует, и достаточно страха по обе стороны, чтобы она начала жить собственной жизнью. Если Прага поверит, что Германия готовится напасть, она предпримет меры. Если Чехословакия начнёт выдвигать войска, в Берлине это могут представить как провокацию. Если Германия ответит собственной концентрацией, предположение превратится в доказательство самого себя. Так начинались кризисы — не обязательно с намерения начать войну. Иногда хватало уверенности, что её собирается начать другой. Бек позвонил Браухичу.

— У нас есть сведения, что в Праге нервничают из-за сообщений о германской концентрации.

— Концентрации нет.

— Я знаю. Проблема в том, что они могут не знать.

— Что предлагаете?

— Следить не только за армией. За политическими решениями.

— Это работа министерства иностранных дел.

— Завтра может стать нашей.

Браухич тяжело вздохнул.

— Людвиг, вы когда-нибудь спите?

— Когда Европа ведёт себя прилично.

— Тогда вам давно пора привыкнуть к бессоннице.

Перед тем как положить трубку, Браухич добавил:

— И не превращайте каждый слух в войну.

— А вы не превращайте отсутствие приказа в мир.

Связь оборвалась. За окном было уже совсем темно. На календаре оставалось несколько минут до 20 мая. Утром Чехословакия начнёт принимать военные меры, вызванные сообщениями о германской угрозе. Берлин будет возмущён. Лондон и Париж забеспокоятся. Гитлер почувствует, что его заставили отступить от войны, которой он в тот момент ещё не собирался начинать. А Людвиг Бек увидит в этом кризисе совсем другое: как легко Европа может оказаться у края войны раньше, чем кто-либо признается, что действительно хотел туда прийти. Пока перед ним лежала только карта. И впервые ему показалось, что спорить приходится уже не с нарисованными на ней стрелками, а с человеком, который всё больше верил, что способен заставить весь остальной мир двигаться по ним.

Глава 6. Майская тревога

20–22 мая 1938 года

Утро 20 мая началось в Праге не с приказа, а с сомнения.

Именно сомнение оказалось опаснее всего. Если бы на стол начальника Генерального штаба легло подтверждённое донесение о германских дивизиях, выдвигающихся к границе, решение было бы проще. Армия существует для того, чтобы отвечать на подобные вещи. Есть сведения о противнике, разведывательная оценка, установленные процедуры. Можно спорить о сроках, количестве частей, направлениях удара, но сам предмет спора понятен. На этот раз понятного почти не было. Были сообщения — несколько, из разных мест. Они частично повторяли друг друга, частично противоречили. Говорили о необычном движении немецких войск в Саксонии, о частях, якобы направляемых ближе к чехословацкой границе, о железнодорожных перевозках, которые могли означать подготовку к сосредоточению. Могли. Это слово в тот день повторяли чаще любого другого. Могли означать. Возможно. По неподтверждённым сведениям. Требует проверки. В мирное время подобные выражения заставляют разведчика отложить вывод до появления новых данных. В кризис они делают обратное. Потому что ожидание тоже становится решением.

В кабинете начальника чехословацкого Генерального штаба находилось несколько человек. На столе лежали карты германской границы. Сведения наносили карандашом, рядом ставили вопросительные знаки. Один из офицеров раздражённо постучал ногтем по бумаге.

— Вот это откуда?

— Из района Дрездена.

— Источник?

— Косвенный.

— Значит, слух.

— Не совсем.

— Мне всё равно, как вы его назовёте. Двенадцать дивизий не появляются возле границы незаметно.

Офицер разведки устало сказал:

— Если бы мы знали, что их двенадцать, я бы не сидел здесь и не спорил с вами.

— А сколько?

— Не знаю.

— Вот именно.

Они оба посмотрели на генерала, стоявшего у окна.

— Допустим, сведения ошибочны, — сказал он. — Что теряем, если усилим готовность?

Начальник оперативного отдела ответил первым:

— Политически? Много.

— Я спросил военного.

— Военный не может ответить, не учитывая политическое.

Это было почти тем же спором, который происходил в Берлине между Беком и людьми, считавшими, что штаб должен просто готовить варианты. В Праге теперь выяснялось то же самое: не существует чисто военного решения, когда само движение одного батальона может быть истолковано со-

седней державой как намерение начать войну.

— Если поднимем части, — продолжил офицер, — немцы скажут, что мы провоцируем.

— Если не поднимем и сведения верны?

Никто не ответил. Генерал повернулся от окна.

— Именно.

На совещание в Пражский град сведения ушли уже не как набор слухов, а как проблема, требовавшая решения. Бенеш прочитал первые доклады спокойно. Потом второй раз. Годжа, сидевший напротив, наблюдал за ним и постепенно становился всё мрачнее.

— Что говорят военные?

— Что подтверждения недостаточны.

— Значит, ничего нет?

Бенеш поднял глаза.

— Нет. Это значит, что подтверждения недостаточны.

— Это дипломатический ответ.

— Сегодня они все такие.

Годжа взял один из листов.

— Здесь говорится о двенадцати дивизиях.

— Здесь говорится, что поступили сведения о возможном сосредоточении такого масштаба.

— Разница успокаивает.

— Она должна не успокаивать, а заставлять читать точнее.

Премьер отложил бумагу.

— Вы им верите?

Бенеш медленно снял очки.

— Я не знаю.

Вот этого он не любил говорить. Не потому, что считал незнание слабостью. Политик, неспособный сказать себе «я не знаю», становится опаснее политика, который иногда ошибается. Но государственный кризис требовал действий прежде, чем незнание исчезало.

— А если это Берлин проверяет нашу реакцию? — спросил Годжа. — Если хочет заставить нас мобилизоваться, чтобы потом обвинить в провокации? Если собирается напасть?

— Всё возможно.

Годжа резко встал.

— Значит, у нас три возможности, и каждая требует противоположного решения.

Бенеш посмотрел на него.

— Теперь вы понимаете, почему я не люблю людей, которые требуют от государства решительности.

— Я сейчас один из них.

— Я знаю.

Премьер прошёлся по комнате.

— После Австрии мы не имеем права считать угрозу блефом.

— Согласен.

— Но если начнём военные меры без достаточного основания, в Лондоне спросят, не создали ли мы кризис сами.

— А Париж спросит то же самое, только тише.

Годжа остановился.

— У нас есть союз с Францией. Почему каждый раз, когда мы говорим о нём, это звучит всё менее убедительно?

Президент не ответил сразу.

— Потому что договор написан чернилами, а выполнять его придётся кровью.

Эта фраза заставила премьера замолчать.

— Вызовите военных, — сказал Бенеш.

* * *

Тем же утром в Берлине происходило нечто почти абсурдное. Германия не сосредотачивала у чехословацкой границы те силы, о которых говорили тревожные сообщения из Праги. Никакой ударной группировки из двенадцати дивизий, готовой перейти границу, не существовало. Для людей, которые через несколько дней будут рассматривать майский кризис как доказательство агрессивности Праги, именно это станет главным аргументом. Но утром 20 мая об этой разнице между реальным германским намерением и чехословацким страхом знали немногие. Бек получил первые сведения о тревоге в Праге ближе к полудню и почти сразу вызвал офицера оперативного отдела.

— У нас есть что-нибудь, что могло вызвать такую реакцию?

— Нет, господин генерал.

— Ничего?

— Обычные перемещения. Учебные мероприятия. Ника-

кого сосредоточения ударной группировки.

— Проверьте ещё раз.

— Уже проверяли.

Бек отложил лист.

— Проверьте третий.

Офицер чуть помедлил.

— Вы думаете, мы чего-то не знаем?

Вопрос был опаснее, чем казался. После создания Верховного командования вермахта и всё более прямого вмешательства Гитлера в военные вопросы даже начальник Генерального штаба сухопутных войск не всегда мог быть уверен, что любой замысел сначала попадёт к нему.

— Я думаю, что предпочитаю выглядеть человеком, который проверил трижды, чем человеком, который однажды сказал: «этого не может быть».

— Понял.

— И выясните, что именно предпринимают чехи.

Когда офицер вышел, Бек некоторое время сидел неподвижно. Его беспокоило не то, что Прага могла ошибиться. Ошибки разведки случались. Его беспокоило, как быстро ошибка способна стать реальностью. Если Чехословакия начнёт мобилизационные мероприятия, немецкая пресса немедленно заговорит о провокации. Если Берлин ответит демонстрацией силы, первоначальное ложное сообщение станет почти правдой. Дальше каждому правительству останется только объяснять, что первым начал другой. В

1914 году Европа уже пережила нечто похожее. Бек слишком хорошо помнил ту войну, чтобы считать сравнение отвлечённым. Тогда тоже существовали планы, мобилизационные графики, союзнические обязательства, уверенность, что противник может воспользоваться каждой потерянной сутками. А затем наступил момент, когда военные расписания начали диктовать политику быстрее, чем дипломаты успевали разговаривать. Телефон зазвонил. Браухич.

— Вы слышали?

— Если вы о Праге — да.

— Говорят о наших двенадцати дивизиях.

— Пусть покажут, где они стоят. Я сам хотел бы знать.

Браухич коротко усмехнулся, но Бек не поддержал.

— Это не смешно.

— Я знаю.

— Если они действительно начнут поднимать резервы, здесь воспримут это как вызов.

— А как ещё?

— Как страх.

На линии возникла пауза.

— Людвиг, государства не мобилизуются из страха.

— Именно из него они обычно и мобилизуются.

— Мы не собираемся на них нападать.

— Сегодня.

Браухич раздражённо вздохнул.

— Опять это ваше «сегодня».

— Если хотите, чтобы я перестал употреблять это слово, добейтесь от политического руководства ясного ответа о завтра.

Браухич замолчал.

— Я свяжусь с вами позже.

— Хорошо.

— И не начинайте войну до ужина.

— Постараюсь.

На этот раз усмехнулись оба. Но когда Бек положил трубку, лицо снова стало серьёзным. Шутка была слишком близка к тому, чего он действительно боялся.

* * *

В Праге совещание затянулось до вечера. Военные докладывали противоречивые сведения. Министры задавали вопросы, на которые генералы не могли ответить с необходимой уверенностью. Бенеш почти не говорил. Когда спор о достоверности информации пошёл по второму кругу, президент наконец остановил его.

— Хорошо. Предположим, что сведения ложные. Что будет, если мы примем ограниченные меры?

Начальник штаба ответил:

— Повысим готовность. Усилим прикрытие границы. Вызовем необходимые категории резервистов.

— А Германия?

— Может протестовать.

— Лондон?

Годжа ответил вместо военного:

— Будет требовать объяснений.

— Париж?

— Тоже.

Бенеш кивнул.

— Теперь другой вариант. Сведения верны. Мы ничего не делаем. Сколько времени потеряем?

Генерал назвал срок. В комнате стало ещё тише. Это были уже не дипломатические слова. Время в военном планировании измеряло расстояние между готовой обороной и войсками, которые не успели занять позиции.

— Значит, мы выбираем между политическим риском и военным.

Годжа тихо заметил:

— Политический риск можно объяснить.

Президент посмотрел на него.

— Если останемся живы как государство.

Решение постепенно оформилось. Не общая мобилизация, не объявление войны — ограниченные меры: призыв части резервистов, усиление пограничных районов, приведение укреплений в готовность. На бумаге различие было огромным. Для мужчины, которому ночью принесут повестку, оно окажется гораздо меньше. В одном из пражских домов телефон зазвонил после полуночи. Хозяин квартиры сначала не проснулся. Жена толкнула его в плечо.

— Ян. Телефон.

Он поднялся, накинул халат и вышел в коридор. Через несколько минут вернулся уже совершенно другим человеком.

— Что? — спросила жена.

— Мне нужно явиться.

— Куда?

Он назвал часть.

— Сейчас?

— К утру.

Она смотрела на него.

— Это война?

— Нет.

Ответ прозвучал слишком быстро. Он сам это заметил.

— Не война. Меры предосторожности.

— Какие?

— Я не знаю.

Он открыл шкаф. Форма хранилась там, где её положили после последних сборов. Жена смотрела, как он достаёт вещи. Ещё несколько минут назад их жизнь состояла из сна, работы утром, покупки продуктов и обещания в воскресенье навестить её сестру. Теперь появился вещевой мешок. Так государственные кризисы входят в дом — не речью президента и не телеграммой посла. Человек просто открывает шкаф посреди ночи.

— Ты надолго?

— Не знаю.

— Почему ты ничего не знаешь?

Он остановился.

— Потому что если бы знали, наверное, не звонили бы ночью.

Она подошла и начала складывать рубашки. Ни один из них больше не спрашивал, будет ли война. Они оба понимали, что ответа всё равно нет.

* * *

К утру 21 мая чехословацкая военная машина начала двигаться. Не вся, но достаточно, чтобы движение стало заметным. Резервисты прибывали в части. Усиливалось прикрытие границы. Оживали укрепления. На железнодорожных станциях появлялись люди с вещевыми мешками. Офицеры получали новые распоряжения. Прага просыпалась в тревоге. Слухи всегда идут впереди официальных сообщений. Кто-то утверждал, что немцы уже перешли границу. Другой говорил, что Гитлер предъявил ультиматум. Третий уверял, будто Франция объявила мобилизацию. Ничего этого не было. Но в трамвае невозможно провести дипломатическую проверку сообщения. Люди передают не то, что знают, а то, чего боятся. У газетных киосков задерживались дольше обычного. Родители провожали сыновей. На вокзалах было многолюдно. В этом не было паники — скорее напряжённая собранность. Чехословацкое государство впервые за годы существования так заметно показывало своим гражданам, что может потребовать от них не только налогов, бюрократиче-

ских форм и участия в выборах. Теперь оно могло потребовать их самих.

Один из резервистов обнял жену и попытался пошутить:

— Не успеешь соскучиться.

Она не улыбнулась.

— Откуда ты знаешь?

Он пожал плечами.

— Немцы не настолько сумасшедшие.

Мужчина рядом, услышавший фразу, обернулся.

— После Австрии я бы не рассчитывал.

— В Австрии никто не стрелял.

— Именно.

— И что?

— Может, им понравилось.

Поезд подали раньше, чем спор успел продолжиться. В приграничных районах картина была тяжелее. Там немецкие и чешские жители наблюдали друг за другом. Прибытие чехословацких частей сторонники Генлейна воспринимали как подтверждение собственных предупреждений: Прага собирается удерживать немецкие районы силой. Чехи видели в реакции немецких соседей другое: потенциальный тыл противника внутри собственной страны. В небольшом городке возле границы владелец магазина, недавно споривший с женой о политике, утром увидел военную машину. Из кузова спрыгнули несколько солдат. Один подошёл к нему.

— Где дорога к станции?

Мужчина показал. Солдат поблагодарил по-чешски. Хозяин магазина ответил по-немецки. Оба поняли друг друга. Из соседнего дома вышел молодой человек со значком Судетской немецкой партии.

— Заблудились? — спросил он по-немецки.

Солдат повернулся.

— Нет.

— Тогда зачем спрашивали?

Хозяин магазина нахмурился.

— Оставь его.

Молодой человек усмехнулся.

— Я просто интересуюсь, сколько ещё Прага пришлёт сюда солдат.

Чешский солдат не понял всех слов, но тон понял прекрасно. Его товарищ знал немецкий.

— Что он сказал?

— Ничего полезного. Пошли.

Они ушли. Молодой активист посмотрел им вслед.

— Вот увидишь, скоро всё изменится.

Хозяин магазина устало спросил:

— Что именно?

— Всё.

— Очень точный ответ.

— Ты смеёшься.

— Нет. Я хочу знать, чему радоваться.

— Тому, что мы перестанем быть чехами.

— Я никогда не был чехом.

— Тогда тем более.

Хозяин магазина покачал головой.

— Вот этого я и боюсь.

— Чего?

— Что скоро мне начнут объяснять, кем я должен быть, хотя я это и без вас знаю.

Молодой человек посмотрел на него уже без улыбки. Разговор закончился, но теперь они оба запомнили его. Такие мелкие разговоры постепенно превращались в списки: кто что сказал, кто не поднял руку, кто говорил с чехами, кто слишком осторожно отзывался о рейхе. Разделение общества редко начинается с ареста. Сначала люди просто начинают запоминать друг друга.

* * *

В Берлине известие о чехословацких мерах вызвало вспышку раздражения. Для Гитлера дело выглядело почти оскорбительно. Германия не сосредотачивала те силы, о которых говорили сообщения. Прага мобилизовала часть резервистов на основании информации, которую Берлин считал ложной. А затем вмешались Лондон и Париж. Кейтель застал Гитлера в состоянии, когда спорить было почти бессмысленно.

— Они мобилизуются против нас!

— Частично.

— Не важно! На основании чего?

— Они заявляют о сведениях по нашим войскам.

— Каким войскам?

— Именно.

Гитлер быстро ходил по комнате.

— Ничего нет. Тогда почему французы предупреждают нас? Почему британцы считают, что имеют право спрашивать меня о наших намерениях?

— Они опасаются, что кризис выйдет из-под контроля.

— Их контроль?

— Европейский.

Гитлер усмехнулся.

— Европа. Когда Австрия хотела быть с Германией, они говорили о мире. Теперь чехи двигают войска — и предупреждают Германию.

Кейтель осторожно сказал:

— Прага утверждает, что меры оборонительные.

— Все мобилизации оборонительные, пока кто-нибудь не начинает стрелять.

Это была почти разумная мысль. Именно поэтому Кейтель не нашёл, что возразить. Гитлер подошёл к карте.

— Они думают, что заставили меня отступить.

— От чего?

Кейтель понял ошибку сразу после вопроса. Германия в тот момент действительно не готовила немедленного нападения, от которого могла бы «отступить». Но международное впечатление формировалось иначе. Прага приняла ме-

ры. Лондон и Париж дали Берлину понять, что внимательно следят за ситуацией. Немецкие войска не двинулись. Для внешнего наблюдателя последовательность могла выглядеть очевидно: твёрдость остановила Гитлера. Для самого Гитлера подобная интерпретация была почти невыносима.

— Они будут писать, что я испугался, — сказал он.

Кейтель предпочёл промолчать.

— Будут?

— Возможно.

— Не возможно. Будут.

Гитлер подошёл ближе.

— Вот что они хотят. Создать впечатление, будто Германия угрожала, а потом отступила.

— Но мы знаем, что это не так.

— История не спрашивает, что мы знаем. Она спрашивает, что видели остальные.

Эта фраза объясняла больше, чем вспышка гнева. Гитлера раздражало не только действие Чехословакии. Его мучило публичное значение произошедшего. Он строил власть на последовательности побед. Каждая победа подтверждала предыдущую. Если теперь Европа поверит, что он угрожал Праге и отступил после предупреждения великих держав, возникнет опасная трещина в образе человека, который всегда заставляет других отступать первым. Для Кейтеля это был дипломатический эпизод. Для Гитлера — вопрос личного престижа. А личный престиж диктатора способен стать

военной категорией.

* * *

В Лондоне настроение было совсем другим. Там никто не праздновал победу. Чемберлен не хотел проверять решительность Гитлера. Он хотел не допустить момента, когда решительность вообще придётся проверять. Доклады о чехословацких мерах вызвали тревогу. Из Берлина приходили заверения, что никакой необычной германской концентрации нет. Из Праги — объяснения, что правительство не может игнорировать сообщения об угрозе. Обе стороны утверждали, что действуют оборонительно. Для британского правительства это было почти худшей комбинацией. Галифакс листал дипломатические сообщения.

— Немцы категорически отрицают концентрацию.

Чемберлен снял очки.

— А наши люди?

— Не подтверждают масштаб, о котором говорят чехи.

— Значит, Прага ошиблась.

— Возможно.

Чемберлен раздражённо посмотрел на него.

— Сегодня все говорят «возможно».

Галифакс едва заметно улыбнулся.

— Потому что слово «точно» обычно появляется после кризиса.

Премьер встал.

— Если чехи мобилизуются без достаточного основания,

они делают ситуацию опаснее. Но если они правы...

— Тогда ситуация уже опасна.

Чемберлен подошёл к окну.

— Я не собираюсь позволить Европе начать войну из-за того, что кто-то неправильно посчитал железнодорожные составы.

— Возможно, Европа редко выбирает достаточно достойную причину для войны.

— Значит, тем более нужно остановить это сейчас.

— Каким образом?

— Берлину должно быть ясно, что нападение не останется локальным.

— Насколько ясно?

Вопрос повис. Слишком слабое предупреждение не остановит Германию. Слишком сильное может создать обязательство, которое Британия ещё не решила брать на себя.

— Достаточно ясно, чтобы он не ошибся, — сказал Чемберлен.

— А Прага?

— Праге тоже нужно объяснить, что мобилизация не заменяет переговоров.

— То есть предупреждаем обе стороны.

— А вы предлагаете выбрать одну?

— Нет. Просто обе стороны будут считать, что мы давим именно на них.

Чемберлен устало усмехнулся.

— Значит, дипломатия работает.

В другой ситуации это могло бы прозвучать шуткой. Никто не улыбнулся.

* * *

В Париже министр иностранных дел Жорж Бонне провёл тревожную ночь. Французская проблема была хуже британской. Британия могла рассуждать о возможности вмешательства. Франция имела союзнические обязательства перед Чехословакией. Если Чехословакия окажется жертвой германского нападения, Франция должна будет ответить на вопрос, чего стоят её договоры. Но если Прага сама спровоцирует кризис, французское правительство рисковало оказаться втянутым в войну из-за решения, которого не принимало.

— Есть подтверждение немецкой мобилизации? — спросил Бонне.

— Нет.

— Британский военный атташе?

— Тоже не видит.

— Тогда зачем чехи это сделали?

— Они считают сведения достоверными.

— Они считают.

Бонне прошёлся по кабинету.

— А если завтра Гитлер мобилизует два класса в ответ?

— Тогда Прага скажет, что была права.

Бонне остановился.

— Именно. Каждое действие становится доказательством

необходимости предыдущего. Свяжитесь с нашим представителем в Праге. Нужно добиться, чтобы они не расширяли меры.

— А если положение ухудшится?

Бонне резко посмотрел на сотрудника.

— Тогда будем решать, когда ухудшится.

Французская политика весной 1938 года всё чаще строилась именно так — не потому, что министры были слепы, а потому, что слишком ясно видели цену каждого решения и потому старались отодвинуть момент, когда придётся выбрать окончательно.

В Москве майскую тревогу читали через ту же систему зависимостей, только с востока. Советские дипломаты получали сообщения о чехословацких мерах, о британских предупреждениях Берлину и о французской позиции. Литвинов не считал полезной войну, возникшую из-за ложной тревоги. Но его беспокоило другое: если каждое заявление о коллективной безопасности сопровождается оговоркой, Германия может однажды решить, что оговорки важнее самого обязательства. Советская формула оставалась последовательной: при германской агрессии Франция должна выполнить договор с Чехословакией, а СССР — свои обязательства в связке с французским действием. Это не было отказом. Это было устройство пакта, которое Москва сама не собиралась превращать в обещание односторонней войны.

Практическая сторона выглядела хуже дипломатической. В советских разговорах снова возникали Польша и Румыния. Польский транзит считался почти недостижимым: Варшава воспринимала проход Красной армии как угрозу собственному суверенитету и не скрывала, что может рассматривать его как враждебный акт. Румынский путь был сложнее. Бухарест не давал Москве простого, безусловного разрешения, но в военных расчётах возможность пропуска советских сил для помощи Чехословакии существовала, и советская дипломатия не считала этот вариант окончательно закрытым. Разница была принципиальной: Польша говорила почти «нет», Румыния оставляла пространство для условий и договорённости. Однако и это пространство не превращало географическую проблему в решённую.

Майский кризис закончился без выстрела, и в Москве, как в Лондоне и Париже, могли сказать, что осторожность сработала. Но Литвинов видел ещё один урок. Германия наблюдала за тем, насколько быстро Франция, Британия и СССР способны превратить слова о коллективной безопасности в согласованное действие. В мае ей не пришлось проверять это до конца. Значит, вопрос не исчез. Он просто переходил в следующий кризис.

21 мая Бек получил подтверждение того, что ему уже было известно: германского сосредоточения, соответствующего чехословацким сообщениям, нет. Он должен был почувствовать облегчение. Вместо этого чувствовал тревогу. Галь-

дер выслушал его и сказал:

— Значит, кризис закончится.

— Почему?

— Потому что нападения нет.

— Франц, вы действительно думаете, что политика работает как артиллерия? Если орудие не стреляет, значит ничего не произошло?

— А что произошло?

Бек поднял телеграмму.

— Они мобилизовались. Лондон вмешался. Париж вмешался. А теперь представьте, как это выглядит для Гитлера.

Гальдер понял не сразу.

— Он решит, что его унизили?

— Именно.

— Но он не собирался нападать.

— Это будет иметь значение для него?

Гальдер прошёл к карте.

— Если человек сердится каждый раз, когда остальные неправильно понимают его намерения, международная политика станет тяжёлым занятием.

Бек усмехнулся.

— Думаю, он видит проблему иначе. Остальные не должны иметь возможности понимать его неправильно. Они должны бояться ошибиться в другую сторону.

Гальдер медленно кивнул.

— Вы думаете, он ускорит планы?

— Не знаю.

— Опять.

— Да, опять. Генерал, который слишком часто говорит «я знаю» о будущем, скоро начинает лгать либо другим, либо себе.

— Допустим, вы правы. Что делать?

Бек не ответил. До сих пор он мог показать недостатки плана, представить расчёты, предупредить Браухича. Но что делать с личным чувством унижения человека, которому подчинено государство? Такой параметр не заносился в штабные таблицы.

— Наблюдать, — сказал он наконец.

— Не очень воинственно.

— Воинственность — плохая замена решению.

— А если он действительно решит воевать?

Бек посмотрел на него.

— Тогда нам придётся решить, является ли обязанность генерала подготовить эту войну или предотвратить её.

Гальдер перестал улыбаться.

— Вторая не входит в наши уставы.

— В уставах вообще плохо описаны государства, которые ведёт к войне собственное руководство.

Некоторое время они молчали.

— Вы уже думаете об отставке? — спросил Гальдер.

Бек удивился.

— Нет. Я ещё думаю, что можно убедить.

— Кого?

Бек не ответил. Возможно, именно отсутствие ответа впервые заставило его самого усомниться.

К 22 мая напряжение начало спадать. Германские войска не переходили границу. Объявленной войны не последовало. В Чехословакии проходили муниципальные выборы, и значительная часть населения старалась воспринимать день как доказательство нормальности. Но нормальность уже была другой. Теперь начиналось самое опасное — борьба за толкование того, что произошло. В Праге многие считали меры успешными: страна проявила решимость, армия отреагировала быстро, Германия ничего не предприняла. Отсюда напрашивался приятный вывод: твёрдость работает. В Лондоне тоже могли увидеть подтверждение необходимости предупреждать Берлин. Во Франции облегчённо говорили, что кризис удалось удержать. У каждого был собственный урок. И только Гитлер извлёк совсем другой. Кейтель попытался сказать, что напряжение уменьшается.

— Это хорошо.

Гитлер посмотрел на него.

— Что хорошо?

— Что кризис не перешёл в войну.

— Войны и не должно было быть сейчас.

— Тем более.

Гитлер подошёл к столу.

— Вы не понимаете. Теперь они думают, что знают, как со мной разговаривать.

— Кто?

— Прага. Париж. Лондон. Они считают, что достаточно поднять войска и сделать предупреждение, и Германия остановится.

— Но Германия ничего не начинала.

— Это знаем мы. А они будут считать, что остановили нас.

— Что вы собираетесь делать?

Гитлер медленно перевёл взгляд на карту Чехословакии.

— Сделать так, чтобы в следующий раз никто не ошибся.

Это ещё не был приказ о войне. Но Кейтель, выходя из кабинета, чувствовал, что за несколько дней изменилось нечто более важное, чем расположение войск. До майского кризиса Чехословакия была задачей, которую Гитлер хотел решить. После него она становилась ещё и личным счётом.

* * *

В Праге вечером 22 мая Бенеш получил последние сообщения. Опасность непосредственного нападения снижалась. Годжа вошёл почти с облегчением.

— Похоже, всё.

Президент поднял голову.

— Что всё?

— Кризис.

— Ах, это.

— Вы умеете портить хорошие новости. Немцы не напа-

ли. Наши меры сработали.

Бенеш снял очки.

— Вот этого я бы не говорил.

— Почему?

— Потому что мы не знаем, собирались ли они нападать.

— Значит, государству вообще невозможно сделать вывод?

— Возможно. Мы способны быстро привести армию в готовность. Население сохраняет спокойствие. Франция и Британия не хотят, чтобы Германия напала. Но они так же сильно не хотят, чтобы мы дали Германии повод.

Годжа замолчал.

— Вот это уже хуже.

Бенеш кивнул.

— И если сведения о германской концентрации были ошибочны, в Берлине теперь убеждены, что мы мобилизовались без причины.

— Пусть.

Президент покачал головой.

— Нельзя говорить «пусть», когда речь о человеке вроде Гитлера. Мы должны строить политику с учётом всего, что способно привести к войне.

Годжа устало провёл рукой по лицу.

— Иногда я завидую генералам. У них хотя бы есть карты.

Бенеш посмотрел на стол, заваленный дипломатическими донесениями.

— Поверьте, они им сейчас тоже не помогают.

* * *

Поздней ночью Людвиг Бек тоже смотрел на карту. Майский кризис закончился почти так же внезапно, как начался. Не было выстрелов, погибших, вторжения. Через несколько дней большинство европейцев вернётся к обычным делам. Газеты найдут новые темы. Политики скажут, что мир сохранён. Но Бек не чувствовал облегчения. Ему не давала покоя одна мысль. Кризис возник в значительной степени из ошибочных сведений — и всё же был совершенно реальным. Резервисты действительно получили приказы. Войска действительно заняли позиции. Лондон действительно предупреждал Берлин. Париж действительно мучительно рассчитывал, что делать в случае войны. Ложная исходная информация породила настоящие последствия. А если в следующий раз исходная информация окажется правдой? До сих пор Бек пытался определить, может ли Германия воевать. Теперь постепенно появлялся другой вопрос: имеет ли он право ограничиться этим расчётом? На столе лежала директива от 20 мая. В ней ещё говорилось, что Гитлер не намерен в ближайшее время уничтожать Чехословакию военной акцией без соответствующего повода. Бек задержал взгляд на дате.

20 мая. Всего два дня назад. Он ещё не знал, что через восемь дней Гитлер соберёт военное руководство и потребует подготовки совсем к другой перспективе. Не знал, что 30 мая

появится новая формулировка — не осторожное рассмотрение возможностей, а решение. Пока между двумя документами существовало восемь дней, за которые никто не погиб и не было войны. И всё же именно в эти восемь дней что-то происходило внутри человека, стоявшего во главе Германии. Бек погасил свет. В темноте карта исчезла первой. Границы перестали быть видны. Это ничего не меняло. На следующее утро они снова появятся. И вместе с ними — вопрос, который с каждым днём становился труднее отложить: сколько ещё времени можно спорить о том, как вести войну, прежде чем придётся начать спорить о том, можно ли позволить ей начаться вообще?

Глава 7. Униженный победитель

23–28 мая 1938 года

Утром 23 мая берлинские газеты лежали на столах ещё влажными от типографской краски. Майский кризис уже шёл на убыль. Германские части не двигались к чехословацкой границе в том количестве, о котором говорили тревожные сообщения из Праги. Чехословацкое правительство не объявляло полной мобилизации. В Лондоне и Париже постепенно приходили к выводу, что непосредственной угрозы войны удалось избежать. Для большинства европейцев это означало облегчение. Для Гитлера — поражение. Не военное: ни одна германская часть не была разбита, Германия не потеряла территории и не отказалась от предъявленно-

го ультиматума, потому что никакого ультиматума не существовало. И всё же в его представлении произошло худшее — возникло впечатление, будто Прага проявила решимость, Лондон и Париж предупредили Берлин, а Германия отступила. Он проиграл событие, которого не было. Гитлер провёл первую половину дня раздражённым и необычайно молчаливым. Люди, входившие к нему с текущими делами, старались задерживаться как можно меньше. Секретари давно знали: бурная вспышка проходила быстрее тяжёлой тишины. Когда он кричал, напряжение имело форму и направление. Когда молчал, никто не понимал, куда оно выйдет.

Кейтель пришёл ближе к полудню. На письменном столе лежала подборка иностранных газет.

— Они называют это «майским кризисом», — сказал Гитлер. — Уже придумали название.

— Так дипломаты обычно делают.

— Дипломаты называют события после того, как не смогли ими управлять.

Он бросил перед Кейтелем одну из газет.

— Здесь пишут, что Чехословакия проявила решимость.

— Это мнение газеты.

— Не газеты. Это мнение, которое останется.

— Через несколько дней появятся другие темы.

Гитлер резко посмотрел на него.

— Политика состоит из памяти. Люди забывают быстро, и потому им нужно оставлять правильные воспоминания. Ав-

стрия — правильное. Рейнская область — правильное. Они видят, что Германия действует и остальные отступают. А теперь им дают другое.

Кейтель начинал понимать: Гитлера беспокоила не фактическая сторона кризиса, а его публичное значение.

— Что именно вас тревожит?

— То, что в Праге теперь будут думать: достаточно мобилизоваться. В Париже — достаточно напомнить о Франции. В Лондоне — достаточно послать предупреждение. Каждый сделает вывод, что Германия понимает только давление.

— В таком случае можно разъяснить, что никакого наступления не готовилось.

Гитлер посмотрел на него так, словно услышал неудачную шутку.

— Разъяснить? Сказать миру, что три дня Европа обсуждала Германию, а Германия теперь оправдывается?

Кейтель промолчал.

— Значит, вы хотите ответа? — спросил он.

— Я хочу, чтобы следующего раза не было.

Гитлер подошёл к карте Чехословакии.

— Проблему нужно решить.

— Судетскую?

— Чешскую.

Кейтель заметил замену слова.

— Военным путём?

— Если потребуется.

— А если не потребуется?

— Тем лучше. Но армия должна быть готова к решающему варианту.

Кейтель подумал о Беке.

— Он возразит.

— Бек всегда возражает.

— Это его работа.

— Его работа — подготовить армию.

— Для этого ему нужно оценить риск.

— Пусть оценивает. Но пусть не превращает осторожность в политику.

Кейтель сказал:

— Он считает опасность французского вмешательства серьёзной.

Гитлер усмехнулся.

— Генералы всегда находят иностранную армию, которой можно испугаться.

— В Первую мировую иностранные армии действительно существовали.

На мгновение в комнате стало совсем тихо.

— Именно поэтому нельзя повторить ошибку 1914 года, — сказал Гитлер. — Германия должна сама выбирать момент. Не Прага, не Париж, не Лондон. Мы.

Вот в этом их взгляды неожиданно совпадали. Ни один профессиональный военный не хотел, чтобы Германия оказалась втянута в войну в момент, выбранный противником.

Но для Бека это было аргументом против поспешной войны, а для Гитлера — аргументом за то, чтобы начать её тогда, когда он сочтёт обстоятельства удобными.

* * *

В Генеральном штабе Бек читал иностранные обзоры с другим чувством. Его не задевала мысль, что Германия будто бы отступила. Но он знал неприятную правду: в мае конкретной авантюры не было. Именно поэтому особенно тревожился о выводах Гитлера. Браухич вошёл без предупреждения.

— Вы знаете, какое настроение наверху?

— Могу предположить.

— Не стоит. Он воспринимает всё это как унижение.

Бек не удивился.

— Я боялся именно этого. Унижение требует компенсации.

— Это психологическое рассуждение.

— Политические решения принимают люди, Вальтер.

— И всё же речь о государстве, а не о дуэли.

Бек посмотрел на него.

— Вы уверены, что он различает?

Браухич нахмурился.

— Осторожнее.

— Мы вдвоём.

— Тем более.

Бек отложил бумаги.

— Что он сказал?

— Пока ничего такого, что можно оформить как приказ.

— Значит, сказал достаточно.

— Вы опять хотите услышать угрозу за день до того, как она произнесена.

— Именно так угрозы и предотвращают.

Браухич помолчал.

— Он не считает войну неизбежной.

— Я знаю. Но если война станет одним из его инструментов давления, одного дня окажется недостаточно, чтобы её остановить.

Браухич вздохнул.

— Вы всё время хотите абсолютных гарантий.

— Нет. Я хочу, чтобы государство не ставило своё существование на цепочку из «могут». Французы могут не выступить. Британцы могут остаться в стороне. Поляки могут воспользоваться собственным спором с Прагой. Москва может ничего не сделать. А если два предположения окажутся неверными?

— Генеральный штаб должен подготовиться.

— Нельзя подготовиться к политической ошибке, которую нам не позволяют предотвращать.

Фраза прозвучала жёстче, чем Бек собирался.

— Вот опять, — сказал Браухич. — Вы перестаёте говорить как штабист.

— А как мне говорить?

— О возможностях армии.

— Я о них и говорю.

— Нет. Вы говорите о праве политического руководства принимать решения.

Бек встал.

— Возможно, потому, что впервые начинаю задумываться, существует ли граница этого права.

Браухич поднял голову.

— Людвиг.

— Я знаю.

— Нет, похоже, не знаете. Мы не парламент и не конституционный суд.

— А кто тогда скажет «нет», если политический руководитель требует войны, которую армия считает гибельной?

— Мы должны сказать, что армия не готова.

— И если он скажет: «готовьтесь»?

— Будем готовиться.

— И если срока недостаточно?

— Сообщим.

— И если он всё равно прикажет?

Браухич замолчал. Бек смотрел на него.

— Вот она, точка, к которой мы каждый раз подходим и начинаем обсуждать что-нибудь другое.

— Тогда это будет приказ верховного главнокомандующего.

— Я знаю, как называется приказ. Я спрашиваю, может

ли он быть преступным против государства, даже если ещё не преступен по закону.

Браухич резко поднялся.

— Достаточно.

— Нет. Скоро этого слова может оказаться недостаточно.

Несколько секунд они стояли друг напротив друга. Бек впервые почувствовал, что спорит уже не с осторожностью одного человека, а с целой системой представлений, в которой немецкий офицер мог сомневаться, предупреждать, просить пересмотра — но в конце концов обязан был подчиниться. Когда государство построено на институтах, такая дисциплина защищает его. Когда государственная воля постепенно превращается в волю одного человека, та же дисциплина может стать его оружием.

* * *

В Праге дни после майской тревоги имели совсем другую окраску. Резервистов постепенно отпускали домой. В газетах осторожно говорили о решимости государства. Люди, ещё недавно провожавшие мужчин на вокзалах, встречали их обратно. Для многих вывод был прост: они не испугались, и Гитлер не пришёл. В одном из пражских кафе двое молодых офицеров говорили об этом достаточно громко.

— Вот видишь, — сказал один. — Наконец-то стало понятно, что немцы понимают силу.

— Они вообще собирались нападать?

— А какая разница? Мы показали готовность.

— Если нападения не планировали, мы никого не остановили.

— Ты всегда такой? Человек способен победить, а ты объяснишь ему, что победы не было.

— Я просто хочу знать, что именно мы победили.

Первый засмеялся.

— Страх.

— Чей?

Пожилой мужчина за соседним столом сложил газету.

— Молодые люди, простите. Вы воевали?

— В прошлой войне? Нет.

— А я воевал. Самая опасная победа — та, после которой человек уверен, что понял противника.

— Вы считаете, мы ничего не поняли?

— Я считаю, вы поняли себя. Это уже немало.

Он надел шляпу и ушёл. Офицеры ещё некоторое время смотрели ему вслед. Бенеш тоже не считал кризис окончательной победой, но не мог не заметить, что Чехословакия показала способность быстро привести войска в готовность, а западные державы — по крайней мере на словах — не остались безучастными.

— Это даёт нам некоторое время, — сказал он Годже.

— Вы уверены?

— Нет. Но в политике иногда приходится пользоваться даже временем, в существовании которого не уверен.

Годжа положил перед ним сообщения из приграничных

районов.

— Генлейн времени не теряет. Его люди используют наши военные меры как доказательство того, что немецкие районы находятся под силовым давлением Праги.

— Разумеется. Если мы не вводим войска, нас обвиняют, что мы не способны контролировать территорию. Если вводим — что оккупируем собственных граждан.

— Очень удобная система.

— Для того, кто не собирается договариваться.

— Вы всё больше уверены, что Генлейн не хочет соглашения?

Бенеш помолчал.

— Я всё меньше уверен, что он имеет право его хотеть.

Это было важное различие. Генлейн мог ещё испытывать собственные сомнения, но пространство его самостоятельности сокращалось.

— Тогда переговоры бессмысленны.

— Нет. Их смысл теперь не только в том, чтобы договориться.

— Опять Лондон и Париж?

— И они тоже. Пока мы должны показать, что проблема не в нашем нежелании искать компромисс.

Годжа устало сказал:

— Иногда мне кажется, мы ведём переговоры не с судетскими немцами, а с британцами через них.

— Если бы только с британцами.

* * *

25 и 26 мая Кейтель получал новые указания по западным укреплениям. Если Германия действительно собиралась действовать против Чехословакии, западная граница должна была стать достаточно крепкой, чтобы затруднить французское наступление. Для Бека сама постановка вопроса была почти признанием его правоты. Франция представляла угрозу. Но политический вывод оказывался противоположным тому, которого он ждал. Он говорил: если французское вмешательство опасно, не начинайте войну. Гитлер отвечал: если оно опасно, укрепите западную границу. Профессиональный аргумент не остановил решение. Он превратился в техническое задание. На совещании по западным укреплениям Бек спросил:

— Сколько времени?

Начальник инженерной службы назвал срок.

— Нет.

— При ускоренном строительстве...

— Я слышал. Рабочие силы не делают бетон твёрже быстрее.

Доклад продолжался почти сорок минут.

— Иными словами, — подвёл итог Бек, — если Франция предпримет серьёзное наступление осенью, западная оборона не будет завершена.

Инженерный генерал осторожно ответил:

— Она будет значительно сильнее, чем сейчас.

— Я спросил не это.

— Нет. Завершённой не будет.

— Запишите именно так. Мы обязаны выполнить приказ о строительстве. Мы не обязаны лгать о результате.

Эта формула пока ещё позволяла Беку оставаться в привычных рамках: выполнить приказ, но честно предупредить. С каждым днём рамки становились теснее.

27 мая Бек встретился с несколькими старшими офицерами. В комнате не было ничего заговорщического: обычный служебный кабинет, карты, папки, пепельница, кофе. Но разговор уже становился таким, который никто из присутствующих не захотел бы увидеть полностью записанным.

— Мы слишком далеко заходим в предположениях, — сказал один генерал. — Нет приказа о войне.

— Есть подготовка.

— Она ведётся давно.

— Теперь другое политическое настроение.

— Политическое настроение не приказ.

— До приказа обычно именно оно.

Другой офицер вмешался:

— Людвиг, допустим, Гитлер действительно хочет решить чешскую проблему в этом году. Почему вы уверены, что он выберет войну?

— Не уверен.

— Вот именно.

— Но вы предлагаете ждать, пока уверенность появится в форме приказа?

— Я предлагаю не делать армию участником политической борьбы.

— Мы уже участники. Его политика опирается на нашу способность воевать.

— Любая государственная политика опирается на армию.

— Не любая использует возможность войны как постоянный инструмент давления.

Генерал пожал плечами.

— Пока инструмент работает.

Бек замолчал. Эта фраза появлялась снова. Пока работает. В ней заключалась вся сила позиции его оппонентов. Гитлер имел результаты. Бек — опасения.

— Хорошо. Допустим, снова сработает. Прага уступит. Что дальше? Чехословакия ослабнет. И после этого Гитлер остановится?

В комнате наступила пауза.

— Это уже политика, — сказал кто-то.

— Нет. Это следующий штабной вопрос. Если не остановится, мы должны знать, какую войну готовить после этой.

Генерал напротив раздражённо сказал:

— Вы рассуждаете так, будто любое германское усиление неизбежно ведёт к следующему требованию.

— А последние пять лет дают вам основание считать иначе?

Никто не ответил. Бек продолжил спокойнее:

— Я не говорю, что Германия должна отказаться от исправления несправедливостей Версаля. Я не говорю, что положение немцев в Чехословакии нас не касается. Я говорю: внешнеполитическая цель перестаёт быть рациональной, если ради неё государство рискует существованием.

— И кто определяет допустимый риск?

Вот он, главный вопрос.

— Политическое руководство, — ответил Бек.

Несколько человек расслабились.

— Но если военное руководство знает, что расчёт ошибочен, оно обязано сказать это настолько ясно, чтобы потом не иметь права утверждать, что просто исполняло.

Тишина вернулась.

— А если нас не услышат? — тихо спросил один из генералов.

Бек посмотрел на него.

— Тогда придётся решить, достаточно ли было говорить.

* * *

Утром 28 мая Гитлер распорядился собрать представителей высшего военного и политического руководства. Встреча состоялась в зимнем саду рейхсканцелярии. Свет проходил через большие окна, растения и светлая отделка создавали впечатление пространства, предназначенного скорее для приёмов, чем для обсуждения войны. Вошли Геринг, Риббентроп, Нейрат, Браухич, Кейтель, Редер, Бек и другие.

Бек занял место, внимательно наблюдая за присутствующими. Он понимал: после майского кризиса речь не пойдёт о текущем положении судетских немцев. Гитлер вошёл без церемониальной медлительности и начал почти сразу. Он говорил о Чехословакии, о положении судетских немцев, о майской «провокации», о том, что Германия не может бесконечно терпеть государство, которое он представлял источником угрозы и инструментом французской политики. Бек слушал не столько формулировки, сколько направление. Сначала политик перечисляет причины недовольства. Потом они превращаются в причины необходимости. А необходимость незаметно превращается в решение.

— Майские события показали одно, — сказал Гитлер. — Прага уверена, что может рассчитывать на нерешительность Германии. Она верит, что за ней стоят Франция и Англия. Поэтому любое наше требование будет встречать сопротивление, пока чехи уверены, что Германия не решится довести дело до конца.

Нейрат осторожно заметил:

— Международная ситуация остаётся сложной.

— Международная ситуация всегда сложная для тех, кто боится её изменить.

Нейрат больше не возражал. Гитлер говорил всё жёстче. Чехословацкая проблема должна быть решена — не частично и не бесконечными переговорами. Военные должны готовиться к тому, что решение будет достигнуто силой. И на-

конец прозвучало главное: армия должна обеспечить готовность к военной акции против Чехословакии к началу октября. Не завтра. Не на следующей неделе. Но срок появился. Срок превращал разговор в другое качество. Бек заговорил после короткой паузы.

— Мой фюрер. Правильно ли я понимаю, что вы считаете военное решение необходимым независимо от позиции западных держав?

В комнате стало тихо.

— Я считаю, что Германия не может позволить Франции и Англии определять, какие вопросы она имеет право решать.

— Я спрашивал о другом. Если Франция объявит, что выполнит союзные обязательства перед Чехословакией, операция может перерасти в войну на два фронта.

— Франция не хочет войны.

— Не хочет.

— Тогда в чём вопрос?

— В том, достаточно ли нежелания, чтобы гарантировать невмешательство.

Гитлер несколько секунд молчал.

— Вы опять считаете дивизии.

— Да.

— А я говорю о политике.

— Политика определяет, против каких дивизий нам придётся воевать.

Кейтель чуть повернул голову. Браухич напрягся. Не вся-

кий позволял себе сказать Гитлеру, что тот не ответил.

— Генерал Бек, вы считаете Францию способной начать большую войну из-за Чехословакии?

— Я считаю, что мы не можем исключить этого.

— Англию?

— Ещё труднее оценить.

— Значит, вы ничего не знаете.

Бек выдержал взгляд.

— Именно поэтому я против решений, которые требуют абсолютной уверенности.

В этом столкновении характеры двух людей проявлялись яснее политических программ. Гитлер не переносил неопределённость и побеждал её волей. Бек считал неопределённость причиной осторожности. Первый воспринимал риск как возможность заставить других отступить. Второй — как величину, которую нельзя вычеркнуть из расчёта.

— Мы не можем ждать, пока все наши противники дадут письменное согласие, — сказал Гитлер.

— Я этого не предлагаю.

— А что?

— Сначала обеспечить положение, при котором даже их вмешательство не приведёт Германию к катастрофе.

— То есть ждать? Сколько?

Бек ответил честно:

— Дольше, чем до осени.

Гитлер резко отвернулся.

— Вот именно. Всегда ждать. В Рейнской области мне говорили ждать. В Австрии — ждать. Если бы решения принимались по таблицам Генерального штаба, Германия до сих пор выполняла бы Версальский договор.

Бек не опустил глаза.

— Возможно. Но таблицы нужны не для того, чтобы определять национальную цель. Они нужны, чтобы показать цену.

Гитлер посмотрел прямо на него.

— Цена Чехословакии будет ниже, чем вы думаете.

— Возможно.

— Опять это слово.

— Потому что другого честного у меня нет.

Геринг вмешался прежде, чем разговор окончательно превратился в открытый конфликт.

— Господа, никто не говорит, что завтра начинается война. Мы говорим о готовности. Если дипломатия даст результат — прекрасно. Если нет, армия должна иметь вариант.

Бек повернулся к нему.

— Вариант и решение — не одно и то же.

Геринг пожал плечами.

— Решение всё равно принимает фюрер.

Вот это и было главным. Совещание продолжалось. Гитлер говорил о сроках, укреплении западной границы, ускорении приготовления. Конкретные указания ещё предстояло оформить письменно, но общая воля была обозначена до-

статочно ясно. После совещания Браухич догнал Бека в коридоре.

— Людвиг. Не здесь.

Они прошли дальше.

— Зачем вы давили на него?

— Давил? Я задал военный вопрос.

— После третьего ответа было ясно, что он не собирается менять позицию.

— Поэтому нужно перестать спрашивать?

— Иногда нужно выбрать другой момент.

— Мы всё время выбираем другой момент.

Браухич раздражённо сказал:

— Он потребовал подготовки, а не объявления войны.

— Срок — начало октября.

— Это срок готовности.

— Именно.

— Вы хотите, чтобы армия отказалась готовиться?

— Нет. Я хочу, чтобы вы поняли: чем лучше мы подготовимся, тем легче ему будет принять решение о войне.

Браухич остановился.

— Это абсурд. Наша обязанность — сделать армию сильнее.

— Конечно. Я говорю только, что военная готовность не освобождает нас от обязанности предупреждать о политической катастрофе.

— Мы предупредили.

— Недостаточно.

— Откуда вы знаете?

Бек посмотрел назад, в сторону дверей зимнего сада.

— Потому что он ушёл оттуда более уверенным, чем вошёл.

Они вышли из здания. Берлин жил обычным субботним днём. Люди шли по магазинам, автомобили останавливались у перекрёстков, из открытой двери кафе доносилась музыка. Никто из прохожих не знал, что несколько минут назад в рейхсканцелярии обсуждался срок готовности Германии к военной акции против соседнего государства. Бек посмотрел на людей.

— Вот это самое страшное.

— Что?

— Они ничего не знают.

— А должны?

— Не знаю. Но однажды именно они будут платить за решения, которые сегодня принимаются в комнате, куда их никто не приглашал.

* * *

Вечером Бек вернулся домой поздно. За ужином почти не говорил.

— Опять Чехословакия? — спросила дочь.

— Почему ты решила?

— Ты всегда одинаково молчишь, когда думаешь о работе. Но сейчас ты ещё и сердишься.

Бек чуть улыбнулся.

— Значит, молчу недостаточно хорошо.

— Что случилось?

Рассказать он не мог. Как объяснить человеку, не живущему внутри военной системы, что изменилось? Не объявлена война. Нет мобилизации. Нет окончательного приказа. Всего лишь совещание. Всего лишь дата готовности. Можно было убедить себя, что ничего решающего не произошло. Именно это Бек больше не хотел делать.

— Иногда самое важное решение сначала выглядит как подготовка к решению.

— И?

— И когда замечаешь разницу, может оказаться поздно.

— Ты можешь что-нибудь сделать?

Бек посмотрел на свои руки — руки начальника Генерального штаба, под которыми проходили документы и планы. Один его приказ мог изменить работу сотен офицеров. И всё же сегодня в зимнем саду рейхсканцелярии он особенно ясно почувствовал ограниченность собственной власти. Он мог объяснять, почему война опасна. Не мог запретить её.

— Пока могу говорить.

— А если не услышат?

Бек поднял глаза. За последние дни этот вопрос задавали ему уже несколько человек. И каждый раз ответа становилось меньше.

— Тогда придётся решить, что делать дальше.

* * *

В рейхсканцелярии свет горел далеко за полночь. Гитлер снова просматривал материалы по Чехословакии. Майский кризис закончился, но в его восприятии именно теперь начиналось настоящее продолжение. Он больше не хотел положения, в котором действия Германии могли зависеть от внезапной мобилизации Праги, британского предупреждения или французских обязательств. Если Чехословакия оставалась проблемой, её следовало решить тогда, когда момент выберет Германия. Если Франция была опасностью, нужно было строить укрепления на западе. Если армия говорила, что не готова, нужно было заставить её подготовиться. Каждое возражение превращалось в задачу. В этом заключалась сила его метода — и его опасность. Человек, умеющий превращать препятствия в задачи, постепенно перестаёт задавать себе вопрос, существуют ли препятствия, являющиеся предупреждением остановиться. Через два дня, 30 мая, воля, обозначенная на совещании, получит письменную форму. Формулировка будет ясной: решение разгромить Чехословакию военным путём в ближайшем будущем. Людвиг Бек ещё не знал текста будущей директивы. Но, выходя 28 мая из рейхсканцелярии, уже понял главное. Майский кризис не остановил Гитлера. Он научил его совсем другому. Тот увидел, что Европа решила, будто заставила Германию отступить, и теперь собирался доказать, что второй раз этого не произойдёт.

Для всех остальных 22 мая опасность войны уменьшилась. Для Гитлера именно после этого война стала ближе.

Глава 8. Решение

30 мая 1938 года

Утром в понедельник Берлин выглядел так, словно ничего не произошло. После ночного дождя асфальт ещё поблёскивал в тени домов, но небо расчистилось, и к девяти часам улицы уже наполнились привычным движением. Трамваи звенели на перекрёстках, автомобили выстраивались перед светофорами, возле газетных киосков задерживались служащие, торопливо просматривавшие заголовки перед работой. Майский кризис, несколько дней державший Европу в напряжении, начинал превращаться в газетное прошлое. Германия не напала на Чехословакию. Чехословацкие части не открыли огня. Французская армия осталась в казармах. Британское правительство не приняло никаких решений, которые невозможно было бы отменить следующим заседанием кабинета. Войны не произошло. Для обычного человека этого было достаточно. Он мог считать кризис законченным. Но государственные кризисы заканчиваются не тогда, когда перестают говорить о них в трамваях. Иногда именно после этого начинаются их настоящие последствия. В здании Верховного командования вермахта офицер, которому передали документ на проверку, сначала обратил внимание не на содержание, а на гриф: «Совершенно секретно». Пять экзем-

пляров. Такое количество всегда заставляло внимательнее относиться к бумаге. Документ, предназначенный для десятков штабов, мог содержать важный приказ. Документ, существующий в пяти экземплярах, обычно содержал решение, о котором пока не должны были знать даже те, кому позднее предстояло его исполнять.

Офицер пробежал глазами первые строки. Потом вернулся к началу и прочитал медленнее. На третьем предложении перестал машинально проверять пунктуацию. Перед ним была новая директива по план «Грюн» — «Зелёному». Ещё недавно это было название варианта. Теперь смысл изменился. В тексте говорилось о решении разгромить Чехословакию военной акцией в обозримом будущем. Не о необходимости изучить возможность. Не о подготовке на случай, если дипломатическое положение заставит Германию защищаться. Решение. Дальше следовало определить подходящий политический и военный момент, подходящий повод, достаточное политическое оправдание, внезапность для противника. Офицер перечитал эти строки ещё раз. Ему стало неприятно от слова «повод». Солдата учили отвечать на угрозу, защищать страну, выполнять приказ. Здесь же почти техническим языком обсуждалось, при каких обстоятельствах война будет выглядеть убедительно для внешнего мира. Он услышал шаги в коридоре и инстинктивно закрыл папку. Почти сразу рассердился на себя: он имел право читать документ, для этого его и принесли. Но жест уже про-

изошёл. Иногда человек понимает собственное отношение к событию раньше, чем успевает сформулировать его словами.

Дверь открылась.

— Закончили?

— Почти.

— Что там?

Офицер поднял голову.

— То, что написано на обложке.

— Очень содержательно.

— И достаточно.

Вошедший понял, что продолжать не следует. Через несколько минут документ ушёл дальше. На последней странице стояла подпись: Адольф Гитлер. Пунктуация оставалась пунктуацией даже в документе о войне.

Кейтель получил окончательный экземпляр вскоре после девяти. Он прочёл его стоя. Некоторые формулировки были знакомы по предыдущим обсуждениям, другие приобрели жёсткость именно теперь. Особенно начало. Ещё десять дней назад конструкция исходила из более осторожной логики. Германия готовила военный вариант, но непосредственное уничтожение Чехословакии не объявлялось ближайшим неизменным решением. Теперь это исчезло. Майский кризис прошёл между двумя текстами, словно нож. Кейтель подозвал адъютанта.

— Сколько экземпляров?

— Пять.

— Рассылка?

Адъютант назвал адресатов: сухопутные войска, флот, люфтваффе, остальные экземпляры — по установленному порядку хранения.

— Сопроводительное готово?

— Да.

Кейтель взял другой лист. Исполнение подготовки должно было быть обеспечено не позднее 1 октября 1938 года. Первое октября. До осени оставалось четыре месяца. На карте четыре месяца казались большим сроком. Для армии — почти ничем. Нужно было изменить оперативные расчёты, определить группировки, уточнить разведывательные сведения, подготовить железнодорожные перевозки, обеспечить снабжение, координировать сухопутные войска и авиацию, одновременно форсировать строительство укреплений на западе. И всё это на фоне официальной мирной жизни. Когда адъютант уже собирался уйти, Кейтель окликнул его:

— Убедитесь лично, что с экземплярами работают только те, кому положено.

— Разумеется.

— Я сказал — лично.

— Да, господин генерал.

Оставшись один, Кейтель подошёл к окну. Ему вспомнился разговор 21 апреля: тогда Гитлер требовал вариантов. Потом майский кризис, совещание 28-го, теперь документ. События складывались в последовательность слишком ясную,

чтобы делать вид, будто ничего принципиального не изменилось. И всё же Кейтель пытался оставить себе пространство для другой интерпретации. Директива могла быть средством давления. Армия должна быть готова именно для того, чтобы дипломатическая угроза выглядела убедительно. Если Прага уступит, война не понадобится. Если Лондон удержит чехов от сопротивления, тем лучше. Если Париж даст понять, что не станет рисковать европейским конфликтом, решение может быть достигнуто без боя. Мысль была удобной и не обязательно ложной. Гитлер уже несколько раз использовал военную угрозу именно так. Но затем Кейтель вспомнил другое предложение — не о Судетах, не о переговорах, а о разгроме Чехословакии. Он вернулся к столу и ещё раз прочёл начало. Смысл не изменился.

* * *

Экземпляр для сухопутных войск доставили Браухичу до полудня. Он не пригласил Бека сразу. Сначала прочёл сам. Один раз. Потом второй. После этого прошёлся по кабинету и снова вернулся к столу. В документе раздражало отсутствие пространства для военного возражения. Гитлер не спрашивал армию, возможно ли решить чехословацкую проблему дипломатически. Он ставил задачу: быть готовыми, причём быстро. Браухич чувствовал знакомое напряжение. В военном смысле Бек был прав. Германия не могла уверенно рассчитывать на локализацию конфликта. Западная граница оставалась недостаточно защищённой. Армия находи-

лась в процессе ускоренного роста. Офицерский корпус растягивали между новыми соединениями. Моторизация выглядела убедительнее в пропаганде, чем в реальной статистике. Боеприпасы, резервы, связь, обучение — слишком много слабых мест. Но существовал и другой факт: Гитлер до сих пор выигрывал. Рейнская область оставалась ремилитаризованной. Австрия была присоединена. Западные державы не вмешались. Кто мог с уверенностью утверждать, что с Чехословакией не произойдёт то же?

Браухич поднял трубку.

— Соедините с генералом Беком.

Бек пришёл с папкой под мышкой, увидел лицо Браухича и сразу понял, что разговор будет не о текущих штабных вопросах.

— Получили?

Вместо ответа Браухич протянул ему документ.

— Читайте.

Бек сел. Первые строки прочёл быстро, потом замедлился. Дошёл до формулировки о политически и военно подходящем моменте, необходимости очевидного повода, политического оправдания, внезапности. Перевернул страницу. Дочитал. Вернулся к началу.

— Ну? — спросил Браухич.

Бек не ответил.

— Людвиг.

— Я читаю.

— Вы уже прочли.

— Поэтому читаю снова.

Наконец Бек положил документ на стол.

— Это решение.

— Это директива о подготовке.

— Нет. Здесь не написано: «если политическое положение сделает войну неизбежной».

— Я умею читать.

— Тогда прочтите первое предложение ещё раз. Здесь решение уже принято. Не определена только возможность его осуществления.

Браухич сел напротив.

— Политическое руководство всегда формулирует задачу жёстче, чем она потом реализуется.

— Вы сами в это верите?

— Да.

Бек смотрел на него.

— Да, — повторил Браухич. — Военная подготовка усиливает дипломатическое давление. Если чехи знают, что армия готова, им сложнее рассчитывать на бесконечные переговоры.

— А если они не уступят?

— Тогда будет принято новое решение.

Бек снова указал на документ.

— Оно уже принято.

— Нет. Приказа начать войну нет.

— Вы хотите ждать именно его?

— До войны армия обязана готовиться к ней.

Бек помолчал.

— Есть разница между готовностью к возможной войне и подготовкой войны, которую политическое руководство решило начать при удобных обстоятельствах.

— Для штаба?

— Особенно для штаба.

Браухич откинулся назад.

— Вот теперь вы снова превращаете профессиональный спор в политический.

— А как вы предлагаете обсуждать документ, в котором сказано, что политическое руководство должно ждать или создать подходящий момент?

Браухич ничего не ответил.

— Что вы предлагаете? — спросил он наконец.

— Полную военную оценку. Не только Чехословакия: Франция, Британия, возможная позиция Польши, Советский Союз, Италия, состояние западной обороны, боеготовность новых дивизий, запасы, мобилизация, сроки. И вывод.

— Какой?

— Тот, который получится.

Браухич усмехнулся без веселья.

— Я примерно представляю ваш вывод заранее.

— Тогда сэкономим время.

— Вы хотите заявить фюреру, что война невозможна?

— Если расчёт покажет это — да.

— И думаете, он откажется?

Бек посмотрел на него.

— Вы опять задаёте неправильный вопрос. Не откажется ли он. А что сделаем мы, если он не откажется.

Браухич нахмурился.

— Мы уже это обсуждали.

— Нет. Мы каждый раз подходим к этому месту и начинаем обсуждать что-нибудь другое.

— Потому что другого ответа нет.

— Есть.

— Какой?

Бек молчал. Несколько секунд — дольше, чем требовалось. Браухич понял.

— Нет.

— Я ничего не сказал.

— Именно. Я возражаю тому, о чём вы начинаете думать.

Бек медленно встал.

— Я пока думаю только об обязанности военного руководства не допустить катастрофы.

— Наша обязанность — защищать государство.

— От внешнего противника? Только?

Браухич резко поднялся.

— Хватит.

Бек не стал спорить дальше. Не потому, что согласился, а потому, что увидел в лице Браухича настоящий страх — не

перед французской армией и не перед Чехословакией, а перед самим направлением разговора. У двери он остановился.

— Если расчёт подтвердит мои опасения, я напишу их так, чтобы их невозможно было истолковать двояко.

— Пишите.

— И я буду настаивать, чтобы вы передали их наверх.

— Передам.

— Тогда пока этого достаточно.

— Пока, — повторил Браухич.

Они оба услышали это слово.

* * *

В Генеральном штабе директива начала распадаться на задачи. Так работала военная машина. Большое решение никогда не исполняется большим движением. Сначала его разбирают на сотни маленьких. Оперативный отдел пересматривал варианты развёртывания. Разведка уточняла чехословацкие силы. Железнодорожники проверяли графики. Инженеры оценивали укрепления. Логисты считали потребности. Связисты готовили сети. Люфтваффе получало собственные задачи. Западная оборона требовала ускорения. Люди, которым передавали отдельные поручения, могли вообще не видеть директиву Гитлера. Им говорили: уточнить, рассчитать, проверить, представить к сроку. Ни в одном отдельном задании не было войны. Но из них она постепенно собиралась. Во второй половине дня Бек вошёл в оперативный отдел. Разговоры стихли. Он остановился перед боль-

шой картой Чехословакии. Стрелок стало больше.

— Уберите это.

Офицер у карты растерялся.

— Что именно?

— Стрелку отсюда.

Он указал на одно из направлений.

— Почему?

— Потому что она нарисована раньше, чем рассчитана.

— Это предварительный вариант.

— Тогда напишите рядом «желание».

Несколько человек едва заметно улыбнулись. Офицер стёр линию. Бек повернулся к остальным.

— Господа, сегодня получена новая директива. Подробности будут доведены по мере необходимости. Главное: расчёты по «Зелёному» должны быть пересмотрены с учётом возможности операции в этом году.

— Срок?

Бек помедлил.

— Готовность — не позднее первого октября.

В комнате стало тише. Молодой майор машинально посмотрел на календарь.

— Да, — сказал Бек. — Я тоже умею считать месяцы. И требую одного: не подгонять расчёт под желаемый вывод. Если дорога не пропускает необходимое количество колонн — она не начинает пропускать их оттого, что срок установлен фюрером. Если дивизия не готова, пишите «не готова». Если

запас недостаточен — «недостаточен». Если данные разведки ненадёжны — «ненадёжны».

— А если итоговая оценка задержит планирование?

— Тогда задержит.

— Но срок...

— Срок не отменяет арифметику.

Бек повернулся к карте.

— И с этого дня ни один расчёт по Чехословакии не должен делаться без одновременной оценки западного направления. Особенно там, где оптимистический вывод получается только потому, что Франции нет на карте.

Он уже собирался уйти, но один из полковников спросил:

— Господин генерал, это действительно будет война?

Несколько человек посмотрели на него с неудовольствием. Такой вопрос не принято было задавать начальнику Генерального штаба в оперативном отделе. Но Бек не рассердился.

— Не знаю. Мы должны исходить из приказа о подготовке. А война начинается не тогда, когда штабист верит в неё. Она начинается, когда политическое решение превращается в приказ войскам. Наша задача — чтобы до этого момента руководство знало настоящую цену.

Полковник тихо произнёс:

— А если знать не захочет?

Бек посмотрел на него.

— Тогда, полковник, у нас появится проблема, которой в

ваших оперативных таблицах пока нет.

Он вышел. Через несколько секунд кто-то снова взял линейку, другой наклонился над картой, третий открыл таблицу железнодорожных перевозок. Работа продолжилась. Так всегда и бывает: человек задаёт вопрос, способный перевернуть государство, а через минуту снова считает вагоны.

В Праге в тот же день не знали о новой директиве. Бенеш получил совсем другие бумаги: доклады о настроениях в Судетской области, сведения о возвращении резервистов к мирной жизни, реакции Лондона и Парижа на майский кризис. На поверхности положение выглядело спокойнее, чем неделю назад. Именно поэтому президент пытался использовать время.

— Они хотят переговоров, — сказал Годжа.

— Кто?

— Представители Генлейна.

— Они всегда хотят переговоров.

— Вы говорите так, словно это недостаток.

— Переговоры хороши, если люди хотят закончить их соглашением.

— Мы не знаем, что они не хотят.

Бенеш ничего не ответил.

— Если заранее решим, что Генлейн выполняет только указания Берлина, — продолжил Годжа, — тогда нет смысла обсуждать с ним вообще ничего.

— Смысл есть: узнать, где заканчиваются его требования и начинаются требования Германии.

— А если границы уже нет?

— Тогда это тоже нужно доказать.

— Опять Лондону?

— В том числе.

Годжа наклонился к столу.

— Хорошо. Тогда что мы предлагаем?

Они снова вернулись к тексту: расширенное использование немецкого языка, изменения в административном представительстве, экономические меры, более широкое местное самоуправление. Каждый пункт должен был быть достаточно серьёзным, чтобы Лондон признал чехословацкую добрую волю, и не настолько серьёзным, чтобы государство начало распадаться административно ещё до решения территориального вопроса.

— А если они согласятся? — неожиданно спросил Годжа.

— Тогда будет хорошо.

— Вы не верите.

— Почему?

— Потому что сказали слишком быстро.

Бенеш улыбнулся.

— Если согласятся, мы получим шанс сохранить государство.

— А Берлин?

Вот теперь Бенеш ответил не сразу.

— Тогда увидим, действительно ли судетский вопрос является для Гитлера целью.

— Или поводом.

Бенеш кивнул. Ни один из них не знал, что примерно в те же часы в Берлине существовал секретный документ, в котором слово «повод» уже стало частью военного планирования.

* * *

Вечером Бек попросил принести ему все материалы по западной границе. Они заняли значительную часть стола. Он работал один, делал пометки, возвращался к цифрам. В какой-то момент обнаружил, что почти десять минут смотрит на одну страницу и не читает. Мысль всё время возвращалась к началу директивы. Решение. Вот что изменилось. Он много лет служил в армии и привык к планированию войн, которых никто не хотел. В этом не было противоречия. Государство обязано готовиться к худшему, чтобы худшее не застало его беззащитным. Штабной план сам по себе не был доказательством агрессивного намерения. Но сегодняшняя бумага была иной. Она не говорила: если Чехословакия нападёт, если конфликт станет неизбежен, если союзнические обязательства приведут к столкновению. В ней политическому руководству предписывалось дождаться или создать подходящую ситуацию для уже принятого решения. Бек достал чистый лист. Наверху написал дату: 30 мая 1938 года. Потом начал писать — не политическую декларацию, а воен-

ную оценку. Именно так он ещё умел сопротивляться: цифрами, логикой, расчётом.

Германия не может рассматривать войну с Чехословакией изолированно. Французское вмешательство вероятно. Британская позиция неопределённа, но её нельзя считать гарантированно нейтральной. Западная оборона недостаточна. Вооружённые силы находятся в процессе формирования. Длительная война создаст тяжелейшие экономические и стратегические последствия. Строки появлялись одна за другой. Бек писал медленно, иногда зачёркивал слишком эмоциональное слово и заменял сухим. Он не хотел, чтобы документ можно было отвергнуть как проявление страха. Страх не был аргументом. Цифры были. Через час он остановился и прочитал написанное. Всё выглядело спокойно, именно так, как должен писать начальник Генерального штаба. Но за каждой строкой стояло предложение, которого на бумаге пока не было: не делайте этого. Адъютант осторожно заглянул в кабинет.

— Господин генерал, уже поздно. Машина ждёт.

— Пусть ждёт.

Когда тот хотел уйти, Бек окликнул его.

— Вы служили в прошлую войну?

— В конце. Совсем молодым.

— Помните август четырнадцатого?

— Немного.

— Что именно?

— Людей на вокзалах. Восторг. Я думал, что к Рождеству всё закончится.

Бек кивнул.

— Почти все думали. Знаете, что самое опасное в военном планировании?

— Ошибка?

— Нет. Ошибку можно обнаружить. Самое опасное — когда политическое желание начинает выглядеть в таблицах как военная возможность.

Адъютант молчал.

— Идите.

* * *

Дома Бек появился почти ночью. На кухне горел свет. Дочь сидела за столом с книгой.

— Снова случилось что-то? — спросила она.

— Сегодня появился документ.

— Какой?

— Служебный.

— Очень исчерпывающе.

Он посмотрел на неё.

— В нём сказано, что армия должна готовиться к тому, чего, по моему мнению, государство должно избегать.

— К войне?

Бек кивнул. Слово прозвучало дома иначе, чем в штабе. Там оно существовало в сочетаниях: война на два фронта, вероятность войны, ведение войны. Здесь было просто: вой-

на.

— С Чехословакией?

— Сначала.

Она уловила последнее слово.

— Сначала?

Бек поставил стакан.

— Вот этого я и боюсь.

— Что она не останется одной?

— И этого.

— А ещё?

Он посмотрел в тёмное окно.

— Что даже если останется и мы победим, победа не остановит того, кто её начал.

Дочь молчала.

— Ты считаешь, он хочет большой войны?

— Не знаю.

— Тогда чего ты боишься?

Бек задумался.

— Человеку не обязательно хотеть катастрофу, чтобы привести к ней.

— Ты можешь уйти?

— В отставку? Могу.

— Почему не уходишь?

— Потому что тогда моё место займёт человек, который, возможно, не станет возражать.

— А если твоих возражений всё равно не слушают?

Он замер. Простой вопрос. Никаких уставов и стратегии. И снова тот же тупик.

— Пока я не уверен, что не слушают.

— А когда будешь уверен?

Он улыбнулся устало.

— Вы все сегодня договорились задавать мне один и тот же вопрос?

* * *

В рейхсканцелярии день закончился спокойнее, чем начался. Документ был подписан. Кейтель получил распоряжения. Военные должны были работать. Для Гитлера это было естественно. После принятия решения мучительная неопределённость исчезала. Сомнение раздражало его сильнее опасности. Пока вопрос оставался открытым, он возвращался к нему снова и снова. Когда решение принималось, становился спокойнее. Теперь задача была ясной. Чехословакия должна быть разгромлена, когда политические и военные обстоятельства станут подходящими. Германии предстояло подготовиться. Западные укрепления — усилить. Армию — привести в состояние, необходимое для операции. Политике — создать или дождаться момента, когда действие можно будет представить оправданным. В этой системе не существовало лишь одного предположения: что сама цель может быть ошибочной. 30 мая никто в Праге не услышал выстрела. Не завыла сирена. Не пришёл ультиматум. Не появилось сообщение о разрыве дипломатических отношений.

И всё же в Берлине уже существовала бумага, в которой уничтожение их государства рассматривалось как принятое решение, ожидающее подходящего момента.

Именно этим подобные дни страшнее дней начала войны. Когда начинается артиллерия, сомнений уже не остаётся. Но 30 мая 1938 года всё происходило почти бесшумно: несколько экземпляров бумаги, несколько подписей, несколько закрытых дверей, а затем сотни офицеров постепенно начнут получать задания, смысл которых каждый сможет считать обычной службой. Рассчитать поезд. Проверить мост. Уточнить дорогу. Определить запас топлива. Изучить укрепление. Подготовить аэродром. Нарисовать стрелку. Войны ещё не было. Было только решение, что при удобных обстоятельствах она должна состояться. В кабинете Бека лежали первые страницы будущего меморандума. У Браухича — экземпляр директивы. У Кейтеля — сопроводительные бумаги. В оперативном отделе — карты. А на карте Европы всё выглядело совершенно по-прежнему. Чехословакия оставалась на месте. Пока. Но впервые за весь кризис слово «пока» перестало быть предчувствием. Теперь за ним стоял документ.

Глава 9. Война в папках

1–17 июня 1938 года

Война вошла в здание Генерального штаба без сапог. Она не хлопнула дверью, не потребовала освободить коридор, не принесла с собой запаха пороха. Никто не услышал её

шагов. В начале июня она выглядела как несколько новых папок, появившихся на столах рядом с другими папками, как изменённые сроки на полях документов, как дополнительные совещания после обеда и настойчивые телефонные звонки из тех управлений, которым ещё неделю назад не требовалось знать, сколько железнодорожных составов можно провести через определённый узел за двадцать четыре часа. Люди приходили на работу примерно в то же время, что и прежде. Сдавали плащи, здоровались с дежурными, просматривали утреннюю корреспонденцию. В столовой по-прежнему подавали кофе, который почти все считали слишком слабым. Кто-то жаловался на погоду, кто-то на служебную квартиру, кто-то спрашивал сослуживца, успел ли тот вывезти семью за город на выходные. А затем офицер садился за стол и начинал вычислять, сколько тонн горючего понадобится соединению, которое должно будет двигаться через территорию государства, с которым Германия официально находилась в мире.

Это не вызывало ощущения преступления или даже чего-то исключительного. Штабы именно для этого существовали. Они обязаны были готовить войну ещё до того, как политики решат, что она необходима. Если начинать считать вагоны после объявления мобилизации, война будет проиграна прежде, чем первый поезд выйдет со станции. И всё же после 30 мая работа изменилась. Не внешне. Внутренне. Раньше офицер мог сказать себе: мы рассматрива-

ем возможность. Теперь существовала директива, в которой возможность стала решением, ожидающим подходящих обстоятельств. Разница между этими понятиями умещалась в нескольких строках. Но людям, умевшим читать военные документы, этих строк было достаточно. Людвиг Бек понял это особенно ясно утром 2 июня, когда ему принесли первую сводную таблицу по срокам развёртывания. Он просматривал её почти сорок минут. Полковник оперативного отдела, сидевший напротив, начинал нервничать. Бек не торопился. Он читал не только итоговые цифры, но и примечания. Именно там обычно скрывалась правда. На первой странице всё выглядело удовлетворительно. На второй начинались оговорки. К третьей выяснялось, что несколько расчётов исходят из полного использования железнодорожной сети без серьёзного вмешательства противника. На четвёртой часть транспортных возможностей зависела от своевременного прибытия автоколонн, укомплектованность которых существовала пока в таблицах лучше, чем в действительности.

Бек положил лист.

— Вы сами этому верите?

Полковник напрягся.

— Какой именно цифре, господин генерал?

— Хороший ответ. Значит, не верите всем.

— Это предварительный расчёт.

— Слово «предварительный» придумали специально,

чтобы человек мог ошибиться и сохранить достоинство.

Полковник позволил себе слабую улыбку.

— Тогда прошу считать моё достоинство спасённым.

— Пока.

Бек провёл карандашом под одной строкой.

— Откуда это?

— Норматив движения.

— Когда этот норматив проверяли на практике?

Офицер замолчал.

— Последние большие манёвры...

— Не подходят. На манёврах дорожный указатель не снимают ночью местные жители, мост не пытаются подорвать, а впереди колонны не горит грузовик, в который попал снаряд.

— Мы не можем внести в расчёт все возможные задержки.

— Не можете. Поэтому не делайте вид, что можете определить движение до минуты. Дайте диапазон. Лучший вариант и худший.

— Итог станет менее определённым.

— Война вообще имеет неприятную привычку быть менее определённой, чем таблица.

Бек перелистнул ещё несколько страниц.

— И почему здесь снова нет одновременного расчёта западного направления?

— Он готовится отдельно.

— Я запрещал готовить отдельно.

— Нам не хватает данных.

— Тогда напишите: «данных недостаточно». Я не хочу итоговую оценку, которая выглядит законченной только потому, что неудобные вопросы вынесены в другой кабинет.

Офицер выпрямился.

— Понял.

— Надеюсь, что поняли. Представьте, что вы докладываете не мне, а истории.

Полковник удивился.

— Истории, господин генерал?

— Да. Она неприятный начальник. Не принимает объяснение «мы исходили из наиболее благоприятного варианта».

Когда полковник вышел, Бек ещё некоторое время сидел неподвижно. Подобные разговоры становились привычными. Он поправлял расчёты, требовал учитывать худшие варианты, возвращал документы, в которых оптимизм выдавали за точность. Формально всё это было обычной работой начальника Генерального штаба. Но смысл постепенно менялся. Раньше он добивался от штаба хорошего плана. Теперь всё чаще ловил себя на мысли, что пытается сделать план настолько честным, чтобы его недостатки смогли остановить саму войну. В этом заключалось опасное противоречие. Чем лучше работал Генеральный штаб, тем убедительнее армия могла выглядеть в глазах Гитлера. Чем точнее Бек устранял слабые места, тем меньше оставалось технических причин отказаться от политического решения, которое он считал губительным. Получалось, что профессиональный долг застав-

лял его совершенствовать инструмент, применению которого он хотел помешать. Он ещё не знал, как разрешить это противоречие. И всё чаще думал, что оно вообще не имеет служебного решения.

* * *

Франц Гальдер появился после обеда. В руках у него было несколько листов, но Бек сразу заметил, что пришёл он не только ради них.

— Что нашли?

— Ничего приятного.

— Значит, день идёт нормально.

Гальдер сел без приглашения.

— Я посмотрел предварительные варианты. Если французское вмешательство исключить, операция выглядит тяжёлой, но выполнимой.

— А если не исключать?

— Вы знаете.

— Хочу услышать.

Гальдер нахмурился.

— Запад становится слабым местом.

— Насколько?

— Зависит от того, насколько серьёзно пойдут французы.

— Они не обязаны сообщить нам заранее.

— Людвиг, я говорю о диапазоне.

— А я о том, что в политическом решении этот диапазон начинают заменять словом «не пойдут».

Гальдер положил листы.

— Потому что политически это возможно. Очень возможно.

Бек снял очки.

— Когда вы говорите «очень возможно», это всё ещё означает, что существует другой вариант. Вот его и считайте.

— Вы хотите построить весь план на худшем случае.

— Я хочу знать, переживём ли мы худший случай.

— Ни одна армия не может быть уверена в этом.

— Тогда тем более нельзя выбирать войну так, словно худшего случая не существует.

Гальдер посмотрел на него.

— Вы всё меньше говорите как человек, которому поручено готовить операцию.

— А вы всё больше это замечаете.

— Трудно не заметить.

Бек подошёл к карте.

— Знаете, что меня беспокоит? Нас заставляют отвечать на неправильный вопрос. Нам говорят: можно ли разгромить Чехословакию? Правильный вопрос — что произойдёт с Германией после того, как мы начнём.

— Это уже шире оперативного планирования.

— В том и проблема. Политика и стратегия сейчас почти неразделимы.

Гальдер задумчиво посмотрел на карту.

— Допустим, французы не выступят. Чехословакия ока-

жется одна. Мы победим. Вы всё равно против?

— Да.

— Почему?

Бек долго не отвечал.

— Потому что тогда он окажется прав.

— Кто?

— Гитлер. В том, что риск всегда оправдан.

Гальдер молчал.

— Рейнская область — получилось. Австрия — получилось. Если теперь Чехословакия будет разгромлена или вынуждена капитулировать, какое возражение вы предложите ему в следующий раз?

— Следующий раз может не наступить.

Бек посмотрел на него почти с сожалением.

— Вы действительно в это верите?

Гальдер отвёл взгляд.

— Я сказал «может».

— Именно. Мы всё время спорим о том, будет ли Франция воевать из-за Чехословакии. А я начинаю думать, что существует ещё одна опасность.

— Какая?

— Что Франция не будет воевать.

Гальдер медленно понял.

— Тогда Гитлер станет сильнее.

— Не только политически. Он получит подтверждение своего метода: давить, пока противник не уступит, и считать

осторожность остальных слабостью.

— Это не аргумент, который можно включить в оперативную записку.

— Знаю.

— Браухич его не передаст. Гитлер тем более не примет.

— Тоже знаю.

— Удивительно плодотворный разговор.

Бек достал несколько страниц.

— Поэтому я и пишу другое.

Это были дальнейшие соображения о военно-политическом положении Германии: попытка показать, что война против Чехословакии способна вызвать цепную реакцию, для которой вооружённые силы и экономика рейха ещё не готовы. Гальдер дочитал.

— Жёстко.

— Недостаточно.

— Если жёстче, Браухич вообще не понесёт наверх.

— Тогда проблема уже не в стиле.

— Вы хотите убедить фюрера? Всё ещё?

Бек посмотрел на него.

— Пока я занимаю эту должность, обязан пытаться.

— А если убедить невозможно?

Бек протянул руку к бумагам.

— Тогда должность перестанет быть аргументом оставаться.

Гальдер не сразу отдал листы.

— Вы думаете об отставке.

— Думаю обо всём.

— Если уйдёте, проблема не исчезнет. На ваше место придёт другой. Возможно, более удобный.

Бек усмехнулся.

— Для кого?

— Вы знаете.

— Тогда почему уговариваете уходить?

— Я вас не уговариваю. Я пытаюсь понять, чего вы хотите добиться.

Бек посмотрел ему вслед.

— Я тоже.

* * *

В соседних управлениях философских вопросов задавали меньше. Там нужно было работать. Одна из групп занималась железными дорогами. Комната была заставлена большими таблицами. На стене висела схема линий с узлами и пропускной способностью. Капитан, просидевший над расчётом почти всю ночь, утром обнаружил ошибку. Небольшую — один состав в сутки. Для обычного человека почти ничего. Для мобилизационного графика на протяжении нескольких дней — уже несколько эшелонов. Он показал расчёт майору.

— Исправляйте.

— Тогда срок прибытия сдвинется.

— На сколько?

Капитан назвал.

— Не годится.

— Но цифра неправильная.

— Я вижу.

— Есть другой маршрут? — спросил майор.

— Через Дрезденский узел. Он уже перегружен.

— Значит, нет.

Майор посмотрел на часы.

— Доклад через два часа.

Капитан молчал.

— Что?

— Если срок нельзя сдвинуть, а пропускную способность нельзя увеличить, что именно вы хотите, чтобы я исправил?

Майор устало отложил карандаш.

— Хорошо. Пишите реальную цифру.

— Итог станет хуже.

— Пусть. Вернут — будем объяснять.

Капитан взял лист и у двери остановился.

— Господин майор. Это действительно для «Зелёного»?

— Вы знаете, что не должны задавать этот вопрос.

— Да. Но последние три дня все делают вид, что рассчитывают железнодорожные перевозки вообще.

— Вам поручено рассчитать перевозку. Вот и рассчитывайте.

Капитан кивнул и вышел. Майор снова посмотрел на таблицу. Его раздражал не вопрос подчинённого, а то, что он

сам задавал себе тот же. В другом кабинете обсуждали боеприпасы, в третьем — инженерные средства, в четвёртом — авиационное взаимодействие, в пятом — медицинское обеспечение. Мирная армия постепенно примеряла на себя войну. Врач, рассчитывавший санитарные поезда, не выбирал внешнюю политику рейха. Интендант не решал судьбу Чехословакии. Железнодорожник не поддерживал и не отвергал Гитлера. Каждый делал небольшую, профессионально понятную вещь. Ответственность растворялась между этажами: наверху существовало решение, внизу — задания, а между ними было достаточно людей, чтобы почти каждый мог считать себя лишь исполнителем технической функции.

* * *

Бек говорил об этом с Браухичем 6 июня.

— Только не говорите, что принесли ещё один меморандум, — встретил его главнокомандующий.

Бек положил папку на стол.

— Хорошо. Назову его иначе.

— Вы просили военные выводы.

— Они здесь.

— Политические тоже?

— Нельзя разделить.

— Можно.

— Тогда выбросьте половину и получите удобную ложь.

Браухич открыл папку. Через несколько минут остановился на странице.

— Вы опять исходите из британского участия.

— Из возможности.

— Здесь почти как из неизбежности. Чемберлен не хочет войны. Британский кабинет не связан договором с Чехословакией так, как Франция.

— Я знаю. Но если Франция вступит, политическое положение Британии изменится. Большая война в Европе затронет британские интересы. Рассчитывать на вечный британский нейтралитет в войне Германии против Франции — не стратегия.

Браухич закрыл папку.

— Фюрер скажет, что вы преувеличиваете.

— Пусть скажет.

— Он скажет, что вы считаете силы как бухгалтер.

— Лучше считать как бухгалтер до войны, чем могилы после.

Браухич резко посмотрел на него.

— Не надо.

Фраза была слишком сильной для служебного разговора. Но Бек не собирался от неё отказываться.

— Вы хотите, чтобы я передал это полностью? — спросил Браухич.

— Да.

— Тогда он перестанет читать на второй странице.

— Почему?

— Потому что вы объясняете ему политику.

— Я объясняю военные последствия политики.

— Для него это не одно и то же.

— Для Германии тоже?

Браухич откинулся назад.

— Иногда мне кажется, что вы хотите не убедить его, а оставить доказательство, что предупреждали.

Бек очень медленно снял очки. Попадание оказалось слишком точным. Не потому, что он сознательно ставил перед собой такую цель. Но в последние дни действительно появлялась ещё одна потребность: зафиксировать возражение так, чтобы когда-нибудь никто не смог сказать, будто Генеральный штаб не видел опасности.

— Возможно, — сказал он.

Браухич удивился прямоте.

— Это плохо. Мы должны думать о решении, а не об оправдании себя перед будущим.

— Согласен.

— Тогда зачем?

Бек посмотрел на папку.

— Потому что я начинаю бояться, что решение уже не зависит от наших доводов.

В комнате стало тихо.

— Вы не можете знать.

— Не могу. Если бы знал, мне было бы проще.

— Что бы вы сделали?

Бек ответил не сразу.

— Не знаю.

Браухич усмехнулся.

— Наконец-то первый честный ответ за неделю.

Напряжение ослабло, но только на мгновение.

— Передайте документ, — сказал Бек.

— Я подумаю.

— Не думайте слишком долго. Времени меньше, чем кажется.

— Откуда вы знаете?

— Потому что штаб уже живёт первым октября.

Это было правдой. На календаре стоял июнь. Но вся работа шла назад от даты, установленной для готовности. Первое октября постепенно становилось невидимым центром лета.

* * *

После майской тревоги в Лондоне не считали, что Британия выиграла дипломатическую битву. Скорее удалось избежать проверки, к которой никто не был готов. В кабинете Чемберлена снова обсуждали Францию. Британское предупреждение Берлину в мае имело силу именно потому, что связывало возможное германское нападение с французским вступлением и затем с британской поддержкой Франции. Но такая конструкция оставалась хрупкой. Кадоган обращал внимание на неприятную асимметрию: на Прагу Британия могла влиять прямо — через своего посланника, кредиты, советы и угрозу политической изоляции. На Берлин влияние было гораздо слабее. Если дипломатия каждый раз тре-

бовала уступок прежде всего от стороны, на которую легче давить, механизм мира постепенно начинал поощрять того, кто давлению сопротивляется.

Чемберлен не принимал эту мысль как доказательство неизбежности войны. Он считал, что разумные претензии судетских немцев всё ещё можно отделить от германской экспансии и тем самым лишить Гитлера убедительного повода. Галифакс соглашался лишь наполовину. Для него главным становился вопрос о конечной цели Берлина. Если автономия удовлетворит Германию, уступки Праги действительно уменьшают риск. Если же автономия служит только этапом, каждая британская попытка «снять повод» создаёт следующий. Этот спор шёл без немцев в комнате. И потому был важен: Британия не просто реагировала на требования Гитлера. Она пыталась определить, существует ли вообще такая уступка, после которой германская политика остановится.

* * *

В Париже к тому же вопросу подходили через Генеральный штаб. Французские военные не могли обещать правительству лёгкое наступление на Германию в первые дни конфликта. Линия Мажино, мобилизация, состояние резервов, британская авиация и сроки развёртывания превращали союзническую клятву в сложную задачу. Но из этого не следовало, что договор с Чехословакией фиктивен. Напротив: именно потому, что война будет тяжёлой, Даладье требовалось заранее понимать британскую позицию. Если Франция

выполнит обязательства и Германия ударит на западе, Париж должен знать, что британский флот и авиация не останутся наблюдателями.

Бонне видел в военных расчётах ещё один аргумент за компромисс. Даладье — аргумент за двойное давление. Праге следует уступать там, где уступка разумна; Берлин должен знать, что нападение не останется локальным. Если одна половина формулы исчезает, другая превращается в принуждение союзника. Французский премьер всё чаще возвращался именно к этому различию. Войны он не хотел не меньше Бонне. Но мир, который держится только на способности малого государства уступать быстрее, чем большая держава требует, казался ему конструкцией без последней точки.

В Праге июнь начинался почти мирно. Майская тревога отходила в прошлое. Переговоры с представителями судетских немцев возобновлялись. Правительство продолжало искать формулу, которая позволила бы показать готовность к серьёзным уступкам и одновременно сохранить управляемость государства. На одном из совещаний Бенеш слушал спор министра и генерала почти десять минут.

— Если предоставим районам более широкое административное самоуправление, это снимет часть напряжения, — говорил министр.

— Возможно. Но кто управляет транспортом при мобилизации?

— Центральное правительство.

— Тогда это не полное самоуправление.

— Разумеется, не полное.

— Генлейн скажет, что недостаточно.

Министр раздражённо повернулся:

— Вы теперь и за Генлейна отвечаете?

— Я пытаюсь понять, где закончится требование.

Бенеш вмешался:

— Вот этого пока не знает никто.

— Тогда как можно строить предложение?

— Так, чтобы разумный человек мог его принять.

— А если на другой стороне не хотят принимать?

— Тогда мы должны сделать это очевидным.

— Опять для Лондона.

— И для собственного населения. Не забывайте: у нас тоже живут люди, которые должны понимать, почему государство идёт на уступки и где остановится.

Генерал тихо произнёс:

— А где оно остановится?

Бенеш понял, что вопрос относится уже не только к переговорам.

— Там, где уступка перестанет сохранять государство и начнёт его разбирать.

— А кто определит эту точку?

— Мы.

Генерал посмотрел на него.

— Если нам позволят.

Один из министров возмутился:

— Что значит «позволят»?

— Париж. Лондон.

Никто не перебил. Именно поэтому фраза прозвучала особенно тяжело.

— Мы не будем управлять страной так, будто решения уже принимаются за нас, — сказал Бенеш.

— Я не сказал, что принимаются. Я сказал, что однажды нам могут объяснить, какое решение Европа считает приемлемым.

Бенеш долго смотрел на него. Малое государство могло мобилизовать армию, строить укрепления, вести переговоры. Но возможность воевать зависела от решений, которые будут приняты в чужих столицах. И Гитлер знал это не хуже Бенеша.

* * *

В Берлине Ганс Остер наблюдал за работой военной машины с особым раздражением. Он служил в абвере и благодаря положению видел больше обычного офицера. Не всё, конечно. В государстве, построенном на конкурирующих ведомствах, никто не видел всей картины. Но достаточно, чтобы понимать направление. Остер давно относился к режиму значительно враждебнее большинства генералов, которые теперь спорили о Чехословакии. Именно эта разница делала разговоры с ними трудными. Для Бека пока главной оставалась опасность войны, к которой Германия не готова.

Для Остера проблема была шире: государство уже стало таким, которому, по его мнению, нельзя было безоговорочно доверять даже тогда, когда оно выигрывает. Он вошёл к Канарису без обычной лёгкости.

— У вас лицо человека, которому сообщили о победе противника, — заметил адмирал.

— Хуже.

Канарис закрыл папку.

— Тогда садитесь.

— Вы видели последние требования по Чехословакии?

— Часть.

— Этого достаточно, чтобы понять: он не отступит.

— Кто?

Остер посмотрел на него.

— Вы хотите, чтобы я произнёс фамилию?

— Иногда полезно, чтобы человек слышал собственные слова.

— Гитлер.

Канарис откинулся назад.

— Хорошо. Теперь продолжайте.

— Генеральный штаб спорит о Франции. Кейтель исполняет. Браухич надеется, что всё снова закончится дипломатией. А тем временем подготовка идёт.

— Именно для этого существует армия.

— Вы тоже?

Канарис нахмурился.

— Не путайте осторожность с согласием.

— Тогда что мы ждём?

— Чего вы хотите?

Остер не ответил сразу.

— Чтобы кто-то наконец признал: проблема не в Чехословакии.

— А в чём?

— В человеке, который каждый раз создаёт новую.

Канарис поднялся и прошёл к окну.

— Осторожнее, Ганс.

— Вы постоянно это говорите.

— Потому что вы постоянно заставляете.

— А когда перестанете?

— Когда осторожность перестанет быть необходимой.

Остер усмехнулся.

— То есть никогда.

Канарис повернулся.

— Вы хотите арестовать фюрера в июне тридцать восьмого?

Вопрос прозвучал почти буднично. Остер не улыбнулся.

— Я хочу, чтобы армия поняла, что однажды этого может потребовать государство.

— Армия не понимает таких вещей заранее.

— Тогда будет поздно.

— Возможно.

Остер раздражённо встал.

— Вы говорите как Бек.

— Это комплимент?

— Сейчас — нет.

Канарис снова сел.

— Бек ещё верит в служебные способы.

— А вы?

Адмирал помолчал.

— Я верю в то, что нельзя начинать с последнего средства, пока не исчерпаны остальные.

— А если остальные специально устроены так, чтобы никогда не сработать?

Канарис посмотрел на него. На этот раз ответа не было. У двери адмирал окликнул:

— Ганс. Не делайте ничего в одиночку.

Остер чуть улыбнулся.

— Это забота?

— Это приказ.

Пока это ещё не был заговор. Но люди, которые позже станут его ядром, уже начинали задавать друг другу вопросы, которых нельзя было вписать ни в один официальный документ.

* * *

10 июня Бек получил очередную подборку материалов и вызвал Браухича.

— Теперь вы вызываете меня? — заметил главнокомандующий.

— Хотел сэкономить вам дорогу с папкой обратно.

— Что на этот раз?

— Французское вмешательство. Теперь с цифрами. Западная оборона не способна гарантировать нам свободу действий против Чехословакии, если Франция предпримет серьёзное наступление.

— «Если». Опять.

— Вальтер, вся военная наука состоит из «если». Пусть политика выбирает наиболее вероятный вариант. Но не заставляет нас объявлять остальные несуществующими.

Браухич перелистывал бумаги.

— Вы включили экономику. Это уже выходит за рамки вашего ведомства.

— Война тоже выйдет.

Германия зависела от импорта сырья, от внешних поставок, от сложной экономической системы, которую длительная война могла поставить под колоссальное давление. Бек всё больше думал не о кампании против Чехословакии, а о войне, способной последовать за ней.

— Вы рисуете мировую войну, — сказал Браухич.

— Именно её я боюсь.

— Из-за Судет?

— Нет. Из-за того, что Судеты могут оказаться только первым местом, где великие державы перестанут отступать.

— И вы знаете, где оно будет?

— Нет.

— Тогда, возможно, не здесь.

— Возможно.

Браухич устало усмехнулся.

— Я хочу, чтобы вы признали: Гитлер может оказаться прав.

— Признаю.

— Вот как?

— Конечно. Но государство не должно начинать войну только потому, что его руководитель может оказаться прав. Особенно руководитель, которому последние успехи начинают внушать уверенность, что он прав всегда.

— Это личная оценка.

— Да. Не включайте её в меморандум. Но вы должны её услышать.

— Почему я?

— Потому что именно вы должны говорить с ним от имени сухопутной армии.

Браухич некоторое время молчал.

— Я не политический противник фюрера.

— И я.

Фраза прозвучала почти автоматически. Бек почувствовал её фальшь сразу после того, как произнёс. Не потому, что уже считал себя политическим противником Гитлера. Пока нет. Но граница между профессиональным несогласием и политическим сопротивлением стала настолько тонкой, что утверждать прежнее с прежней уверенностью он уже не мог.

Браухич, похоже, услышал паузу.

— Вы сами не уверены.

— В чём?

— В последнем.

Бек отвернулся.

— Я уверен, что война сейчас опасна для Германии.

— Я спрашивал не об этом.

— Тогда не спрашивайте.

Браухич встал.

— Вот видите. Вы тоже предпочитаете отложить неудобный ответ.

На этот раз Бек действительно улыбнулся.

— Возможно, я заразился от вас.

* * *

12 июня воскресная Германия жила мирной жизнью. На озёра вокруг Берлина выезжали семьи, в садах подавали пиво, по радио звучала музыка. В одном доме офицер Генерального штаба сидел за письменным столом и правил расчёты, которые взял домой в виде собственных заметок без обозначений. Жена дважды звала его к обеду. На третий раз вошла сама.

— Ты обещал сегодня не работать.

— Я помню.

— Это интересный способ выполнять обещание.

Он отложил карандаш.

— Ещё полчаса.

— Ты говорил это час назад.

Она подошла к столу. Он машинально накрыл лист рукой.

— Тайна?

— Работа.

— Последнее время это одно и то же. Чехи?

Офицер посмотрел на неё.

— Откуда?

— Жёны тоже умеют складывать два и два.

Она села напротив.

— Будет война?

Он хотел сказать привычное «нет». Не смог.

— Не знаю.

— Ты работаешь ночами и не знаешь?

— Именно поэтому и работаю.

— Странная профессия. Ты хочешь этой войны?

Он резко поднял глаза.

— Что за вопрос?

— Обычный.

— Военный не решает, хочет ли он войны.

— А человек?

Он замолчал.

— Нет.

— Тогда зачем ты её готовишь?

Офицер провёл ладонью по лицу.

— Потому что если она начнётся, я хочу, чтобы наши солдаты были готовы.

— А если твоя хорошая подготовка помогает ей начаться?

Он посмотрел на жену почти сердито.

— Ты не понимаешь.

— Конечно. Я же не военная.

Она встала.

— Обед остынет.

Он остался за столом. Ещё несколько минут не писал. Цифры были прежними, но вопрос жены мешал видеть их так же спокойно, как утром.

* * *

К 15 июня работа по «Зелёному» уже имела собственный ритм: совещания, уточнения, возврат документов, новые сроки. Бек чувствовал, как операция приобретает внутреннюю инерцию. После определённой точки крупная организация начинает двигаться не только потому, что её толкают сверху, но и потому, что тысячи людей уже включились в работу. Отменить приказ можно за минуту. Остановить мышление, привыкшее к приказу, сложнее. Утром к Беку пришёл один из генералов и закрыл дверь.

— Можно без протокола?

— Тогда почему вы в моём кабинете? Здесь всё превращается в протокол.

— Я серьёзно. Вы действительно хотите продолжать возражения?

— Да.

— Даже после директивы? Не имеет смысла.

Бек внимательно посмотрел на собеседника.

— Почему пришли?

— Потому что считаю вас правым. Между нами многие считают.

— Сколько?

— Достаточно.

— Для чего?

Тот замолчал.

— Не знаю.

— Вот поэтому и недостаточно.

— Вы хотите, чтобы люди открыто выступили против фюрера?

— Я этого не сказал.

— Но думаете.

Бек медленно произнёс:

— Я думаю, что если высшее военное руководство считает войну опасной, оно должно сказать это коллективно.

Собеседник сразу стал серьёзнее.

— Коллективно?

— Да. Пока — единую профессиональную позицию.

— Перед кем?

— Перед Браухичем. Потом перед Гитлером.

Генерал покачал головой.

— Не сработает. Один скажет одно здесь, а в рейхсканцелярии — другое.

Бек не ответил. Он слишком хорошо знал, что это воз-

можно.

— Все боятся? — спросил он.

— Не все. Некоторые верят, что Гитлер снова добьётся своего. Другие не хотят вмешиваться в политику. Третьи считают Чехословакию искусственным государством. Многие хотят Судеты. Есть те, кто просто не верит во французское вмешательство.

Бек слушал. Вот она, настоящая проблема: не трусость, по крайней мере не только она. Военное руководство не было единым в оценке целей Гитлера. Многие могли не любить режим, презирать партийцев и одновременно приветствовать ревизию послевоенных границ и усиление Германии. Бек разделял часть этих стремлений. Именно поэтому его путь к сопротивлению был так труден. Он не стоял вне системы и не смотрел на неё глазами убеждённого демократа. Он вышел из того же мира — из прусской военной традиции, из национального унижения после поражения, из желания видеть Германию сильной. Но постепенно обнаруживал, что человек, обещавший вернуть этой Германии силу, может поставить под угрозу само её существование.

— Значит, — сказал Бек, — нам нужно спорить не только с Гитлером.

— А с кем ещё?

— С собой.

— Это обычно труднее.

— Именно.

16 июня появилась новая директива. Она не изменила направление, заданное 30 мая, а уточнила его. Ближайшей задачей оставалось решение чешской проблемы по свободному решению Германии, подготовка должна была обеспечивать возможность действия при благоприятной обстановке. Бек прочитал текст молча и передал Гальдеру. Тот закончил.

— Ну?

— Что «ну»?

— Всё ещё вариант?

Гальдер посмотрел на него.

— Вы спрашиваете меня или Браухича?

— Вас.

— Нет.

Бек кивнул.

— Тогда что?

Гальдер прошёлся по кабинету.

— Тогда мы готовим войну, которую надеемся не начать.

— Очень точная формулировка.

— И очень немецкая.

— Почему?

— Потому что нам всегда хочется верить, что хороший план сам по себе предотвратит необходимость его применять.

— Иногда так и бывает.

— А сейчас?

— Сейчас я боюсь противоположного: хороший план убе-

дит его, что можно рискнуть.

На столе лежала новая директива. Всего несколько листов.

— Что будете делать? — спросил Гальдер.

— Писать.

— Ещё?

— Да.

— Он не читает ваши записки.

— Браухич читает.

— Это должно утешать?

— Пока нет.

Гальдер сел.

— Людвиг, сколько ещё?

Бек понял вопрос. Не сколько страниц. Сколько он собирается продолжать действовать служебными средствами.

— До тех пор, пока не станет ясно, что они исчерпаны.

— А кто определит?

— Я.

— Опасный ответ. И что потом?

Бек посмотрел на закрытую дверь, потом на карту.

— Тогда придётся говорить не о меморандуме.

Гальдер не спросил, о чём именно. Впервые это было не нужно.

* * *

К вечеру 17 июня в оперативном отделе погасили свет позже обычного. На одном из столов осталась карта Че-

хословакии. На ней были цветные линии, номера соединений, предполагаемые направления действий, железные дороги, аэродромы. Рядом лежала пачка законченных расчётов. Офицер, уходивший последним, вернулся и накрыл карту полотном. Не из страха — так требовал порядок секретности. Он выключил лампу. Комната исчезла в темноте. Но работа, сделанная за две недели, никуда не исчезла. Она находилась в шкафах, сейфах, памяти людей. На других этажах такие же папки лежали в отделах снабжения, связи, авиации, инженерных войск. Германия официально продолжала мирные переговоры. Гитлер ещё мог отказаться от войны. Прага ещё могла пойти на уступки. Лондон и Париж ещё надеялись найти соглашение. Ничто не было окончательно предрешено. И всё же к середине июня война против Чехословакии уже обладала тем, чего не имела месяц назад: сроками, маршрутами, расчётами, потребностями, названиями частей и людьми, привыкшими работать над ней каждый день. Она ещё не существовала в поле. Но уже существовала как административная реальность.

И Бек всё яснее понимал опасную вещь. Самая трудная минута наступает не тогда, когда генерал получает приказ открыть огонь. К тому моменту государственная машина уже слишком далеко зашла. Настоящий выбор возникает раньше — когда перед человеком лежит совершенно законная папка, его просят сделать свою работу хорошо, и он должен решить, где именно хорошая служба начинает помогать

плохому решению. Бек пока продолжал работать. Он писал записки, возвращал расчёты, требовал честных цифр, спорил с Браухичем, пытался заставить военное руководство увидеть не только возможность победы над Чехословакией, но и вероятность катастрофы после неё. Он всё ещё верил, что профессиональная ответственность генералов способна стать преградой политической авантюре. Через несколько недель ему придётся проверить эту веру. И тогда выяснится, что написать коллективное «нет» значительно легче, чем заставить нескольких генералов произнести его одновременно.

Глава 10. Подать в отставку всем

18–30 июня 1938 года

К середине июня Людвиг Бек обнаружил, что всё чаще просыпается раньше будильника. Не от шума и не из-за плохого сна. Просто в какой-то момент ночи мысль, которую вечером удавалось заглушить усталостью, возвращалась с той ясностью, какая бывает только в предрассветные часы, когда человеку ещё нечем от неё защититься. Первого октября. Дата давно перестала быть обычной строкой в директиве. Она существовала теперь в десятках документов, хотя далеко не всегда была написана прямо. Штабные сроки отчитывались от неё назад. К ней привязывали готовность частей, инженерные работы, транспортные расчёты, разведывательные задачи. Кто-то должен был закончить работу в сентябре, чтобы другой успел в августе, а для этого третий обязан был

представить сведения уже в июле. Само лето стало обратным отсчётом. Бек лежал в темноте и думал о странном свойстве военного планирования: война могла ещё не иметь политической даты, но штаб уже начинал жить так, словно она существует. Он пытался снова уснуть, вспоминал сад, разговоры дома, недочитанную книгу — и через несколько минут снова видел перед собой те же числа: Франция, Чехословакия, западная граница, недостроенные укрепления, новые соединения, боеприпасы, экономика. И всякий раз в конце появлялся вопрос, для которого не существовало отдельной графы: что делать, если расчёт доказан, предупреждение передано — а решение остаётся прежним?

До последнего времени Бек полагал, что ответ очевиден. Генерал докладывает. Политическое руководство решает. Если решение принято, армия исполняет. Так было устроено государство. Не парламентская дискуссия в казарме, не голосование командующих, не право каждого офицера выбирать войну, в которой он согласен участвовать. Армия, превратившая подчинение в предмет личного усмотрения, перестаёт быть армией. Именно поэтому теперь было так трудно. Бек всё больше подозревал, что существует момент, когда дисциплина, предназначенная защищать государство, способна стать механизмом его уничтожения. И никакой устав не сообщал, где находится эта граница.

* * *

18 июня Браухич получил очередную записку Бека ещё до

обеда. Он пролистал первые страницы и отложил. Через минуту снова взял. Не потому, что не понял, — скорее потому, что понял слишком хорошо. Бек больше не ограничивался частностями. Речь шла не о том, достаточно ли быстро строится Западный вал и сколько соединений понадобится для прорыва чехословацких укреплений. Вопрос ставился шире: допустимо ли вообще начинать конфликт в условиях, когда Германия не способна гарантировать его локализацию? Браухич вызвал начальника Генерального штаба только ближе к вечеру. Бек вошёл и сразу увидел свои бумаги.

— Прочли?

— Да.

— Все?

— К сожалению.

Бек сел.

— Значит, не понравилось.

— Мне не обязано нравиться.

— Хорошее начало.

Браухич провёл пальцами по краю папки.

— Вы снова пишете о мировой войне.

— Потому что риск никуда не исчез.

— Вы превращаете риск в неизбежность.

— Нет.

— Практически.

Бек покачал головой.

— Мы уже проходили это. Если вероятность невелика,

но последствия катастрофичны, генерал обязан учитывать её иначе, чем вероятность дождя на манёврах.

— А политик?

— Политик может рискнуть.

— Вот именно.

— Но армия должна объяснить, чем он рискует.

Браухич раздражённо откинулся назад.

— Объяснила.

— Недостаточно ясно.

— Сколько ещё раз вы собираетесь повторять одно и то же?

Бек посмотрел на него.

— Пока ответом на аргумент остаётся приказ считать быстрее.

Браухич встал. Он всё чаще разговаривал с Беком стоя, словно движение позволяло избежать ощущения, что его загоняют в угол.

— Вы недооцениваете политическую сторону.

— Возможно.

— Не «возможно». Недооцениваете. После Австрии положение изменилось. Судетский вопрос не исчезнет сам. Миллионы немцев требуют решения.

— Я этого не отрицаю.

— Тогда что вы предлагаете? Навсегда оставить всё как есть?

— Нет.

— Ждать два года?

— Если за два года армия будет способна решить задачу без риска уничтожения Германии — да.

Браухич резко повернулся.

— Вы готовы сказать это Гитлеру?

— Готов.

— «Подождите два года»?

— Если потребуется.

— После Австрии? После майских событий? Когда вся партия требует решения судетского вопроса?

— Я начальник Генерального штаба, а не партии.

— В государстве существует не только ваш штаб.

— Поэтому я и не требую права принимать решение.

Браухич остановился напротив него.

— Тогда примите тот факт, что решение принимаете не вы.

Бек несколько секунд молчал.

— Я принимаю.

— Не похоже.

— Я принимаю, что не имею права определять внешнюю политику Германии. Но не принимаю, что должен молчать о последствиях только потому, что они неудобны политическому руководству.

— Вы не молчите.

— Пока.

Последнее слово прозвучало так, что Браухич сразу на-

сторожился.

— Что значит «пока»?

Бек перевёл взгляд на документы.

— Вальтер, скажите мне честно. Если через месяц выводы останутся теми же, а подготовка продолжится — что вы сделаете?

— Снова доложу.

— Если снова не услышат?

— Это зависит от обстоятельств.

— Каких?

— Я не знаю.

Бек кивнул.

— Именно. Мы оба всё время говорим о будущем так, будто оно само предложит нам правильный поступок.

— А вы уже знаете свой?

Бек не ответил сразу.

— Нет. Пока не знаю.

Это было не совсем правдой. Мысль уже существовала, но ещё не стала решением.

* * *

Через два дня Бек пригласил к себе несколько старших офицеров. Неофициально — хотя в Генеральном штабе почти не существовало по-настоящему неофициальных встреч. Если несколько генералов собирались в кабинете начальника Генерального штаба и закрывали дверь, сам факт встречи уже становился частью служебной реальности, даже если

секретарь не вёл протокол. Бек заранее решил не начинать с политики. На столе лежали расчёты.

— Господа, я не хочу снова доказывать то, что вы уже читали. Поэтому один вопрос. Считает ли кто-нибудь из вас, что Германия сегодня способна уверенно вести войну против Чехословакии при одновременном вступлении Франции?

Никто не ответил сразу. Один генерал сказал:

— «Уверенно» — слишком сильное слово.

— Хорошо. Замените.

— Способна вести — да.

— Победить?

Тот помедлил.

— Всё зависит от масштаба французского наступления.

Бек кивнул.

— Значит, нет ответа.

— В войне вообще мало ответов.

— Согласен.

Другой генерал, сидевший у окна, вмешался:

— Людвиг, вы опять ставите вопрос так, чтобы получить нужный результат.

Бек посмотрел на него спокойно.

— Какой вопрос поставили бы вы?

— Насколько вероятно, что Франция действительно вступит.

— Это вопрос дипломатам.

— Нет. Именно вероятность определяет риск.

— А если они ошибутся?

Генерал развёл руками.

— Тогда будем воевать.

Бек несколько секунд молчал.

— Вот это и есть позиция?

— А какая ещё?

— Не начинать войну, если ошибка в политическом прогнозе может сделать её катастрофической.

— Но мы не начинаем.

— Кто «мы»?

— Армия.

— Удобно.

Собеседник нахмурился.

— Что вы хотите сказать?

— Что все готовы отделить решение от исполнения до тех пор, пока не нужно отвечать за результат.

В комнате стало напряжённее. Бек продолжил уже мягче:

— Я не обвиняю вас. Я спрашиваю себя о том же.

Один из генералов сказал:

— Вы хотите, чтобы армия отказалась выполнять приказ?

— Нет.

— Тогда к чему ведёт разговор?

Бек посмотрел на него. Можно было снова отступить к расчётам, сказать, что требуется лишь единое мнение, составить ещё один меморандум. Но все предыдущие недели уже

были именно этим.

— К тому, что индивидуального возражения недостаточно.

Никто не перебил.

— Гитлеру говорят одно и то же по отдельности. Каждый раз конкретный генерал излагает опасения, а государственная машина продолжает работу.

— Что вы предлагаете?

Бек положил ладони на стол.

— Совместную позицию высшего командования.

Один из присутствующих усмехнулся.

— Декларацию?

— Если потребуется.

— Генералы не политики.

— Тогда назовите иначе.

Другой спросил:

— Что должно в ней быть?

— Что при нынешних условиях война против Чехословакии создаёт недопустимый риск общеевропейской войны и что военное руководство считает необходимым отказаться от силового решения до изменения стратегической обстановки.

— И если фюрер откажется?

Снова тот же вопрос. Бек чувствовал, что последние недели каждый разговор в конце концов приходит к нему.

— Тогда коллективная ответственность должна иметь по-

следствия.

В комнате стало тихо. Один из генералов медленно снял очки.

— Какие?

Бек посмотрел на него.

— Если высшее военное руководство убеждено, что приказ ведёт страну к катастрофе, оно не может одновременно утверждать это и продолжать занимать должности так, словно ничего не произошло.

Несколько секунд никто не говорил.

— Вы предлагаете отставку?

Бек не сказал «да» сразу. Он услышал эту формулировку будто впервые не в собственной голове; здесь, среди людей, она звучала радикальнее.

— Если понадобится.

— Коллективную?

— Если другого способа заставить политическое руководство услышать нас не останется.

Один из генералов резко отодвинулся от стола.

— Это политический шантаж.

— Возможно.

— Армия не может шантажировать главу государства.

— А если глава государства ставит армии задачу, которую она считает гибельной?

— Доложить.

— Доложили.

— Доложить снова.

— И потом?

— Выполнять.

Бек посмотрел на него.

— Даже если считаете, что результатом будет поражение Германии?

— Генерал не выбирает войну.

— Но отвечает за её ведение.

— Именно.

Бек покачал головой.

— Тогда выходит странно. Мы достаточно ответственны, чтобы отвечать за поражение, но недостаточно — чтобы попытаться предотвратить решение, которое к нему ведёт.

— Это устройство государства.

— Нет. Это устройство армии. Государство больше армии.

Фраза вызвала почти физическое напряжение. Здесь проходила та граница, которую офицеры чувствовали особенно остро. Армия существовала для государства. Но кто представлял государство? Фюрер? Правительство? Народ? Законы? История? В обычные времена эти понятия можно было считать частями целого. Теперь они начинали расходиться.

— Осторожно, Людвиг, — сказал один из старших генералов.

Бек устало усмехнулся.

— Последние три месяца я слышу это слово чаще соб-

ственного имени.

— Потому что вы идёте туда, откуда трудно вернуться.

— Куда?

— К политической оппозиции.

Бек посмотрел на него.

— Если профессиональная оценка войны становится политической оппозицией только потому, что она не совпадает с волей фюрера, тогда проблема не во мне.

Совещание закончилось без решения. Именно это было самым важным. Несколько человек согласились, что коллективное выступление могло бы произвести впечатление. Другие считали идею недопустимой. Третьи не спорили, но каждый раз добавляли: если ситуация действительно станет критической; если французская позиция будет ясна; если война окажется неизбежной; если Браухич возглавит. Слово «если» возвращалось снова и снова. Бек слушал и постепенно понимал: в военных планах он требовал учитывать худший вариант; в вопросе личной ответственности генералы, напротив, строили всё на лучшем. Они надеялись, что действовать не придётся.

* * *

После совещания в кабинете остался один из участников. Он дождался, пока шаги в коридоре стихнут.

— Вы действительно пойдёте на это?

Бек собирал бумаги.

— На что?

— Не надо. На коллективную отставку.

Бек посмотрел на него.

— Если политическое руководство не откажется от войны, а наши выводы останутся прежними — считаю это возможным.

— Возможным или необходимым?

— Я ещё не решил.

Генерал тихо усмехнулся.

— Вот видите. Вы требуете от нас решительности, которой пока нет у вас.

Бек не обиделся.

— Справедливо.

— И?

— Именно поэтому я не предлагаю подписывать рапорты сегодня.

— А когда?

— Когда будет ясно, что служебные средства исчерпаны.

— Для вас это когда?

Бек устало провёл ладонью по столу.

— Наверное, когда Браухич принесёт наши возражения Гитлеру, а тот окончательно отвергнет их.

— «Наверное».

— Да.

Генерал поднялся.

— Знаете, почему ничего не получится?

— Почему?

— Потому что каждый из нас ждёт события, которое снимет с него необходимость решать самому.

Бек смотрел на него внимательно.

— Вы тоже?

— Конечно.

Ответ прозвучал настолько просто, что Бек не нашёлся сразу.

— По крайней мере, честно.

— Честность дешевле поступка.

Генерал взял фуражку.

— Я против войны сейчас. Я считаю ваши расчёты правильными. Если Франция и Англия выступят, нас ждёт катастрофа. Но если вы спросите меня сегодня, готов ли я положить на стол прошение об отставке, ответ будет «нет».

— Почему?

— Потому что я всё ещё надеюсь, что до этого не дойдёт.

— А если дойдёт?

Генерал улыбнулся почти грустно.

— Тогда спросите снова.

Он ушёл. Бек остался один. Фраза ещё долго звучала в голове: «Тогда спросите снова». Так, наверное, и откладываются решения, которые человек считает невозможными сегодня и неизбежными завтра. Проблема лишь в том, что завтра человек часто находит новое «завтра».

* * *

В абвере Ганс Остер был менее терпелив. Он считал саму

идею коллективной отставки недостаточной ещё до того, как она окончательно оформилась у Бека. Канарис слушал его молча. Остер ходил по кабинету.

— Хорошо. Допустим, все подадут в отставку.

— Все не подадут.

— Тем более. Допустим, хотя бы половина. Что сделает Гитлер?

Канарис пожал плечами.

— Назначит других.

— Вот именно.

— Массовая отставка командующих создаст политический кризис.

— В каком государстве?

Адмирал поднял глаза. Остер остановился.

— Простите.

— Нет, продолжайте.

— Какой политический кризис? В рейхстаге? В газетах? На партийном съезде? Он объявит их трусами, скажет, что старые генералы не понимают новой Германии, повысит тех, кто согласен. Через неделю армия будет выполнять приказ.

— Возможно.

— Не возможно.

— Ганс.

— Хорошо. Вероятно.

Он сел.

— Я понимаю Бека. Он хочет последнего действия внутри

системы.

— И это важно.

— Почему?

— Потому что нельзя требовать от человека нарушить присягу прежде, чем он убедится, что все законные способы исчерпаны.

Остер резко ответил:

— А сколько людей должно погибнуть, пока он убеждается?

Канарис нахмурился.

— Сейчас никто не погиб.

— Вот именно. Поэтому у нас ещё есть возможность действовать.

— Как?

Остер промолчал. Адмирал внимательно смотрел на него.

— Вы говорите «действовать» слишком легко.

— Нет.

— Именно легко.

Канарис встал.

— Арестовать главу государства? Ввести войска в Берлин? Захватить министерства? Разоружить СС? Объяснить армии, что присяга больше не действует? Что дальше?

Остер слушал.

— Вы думаете, это приказ нескольким батальонам?

— Нет.

— Тогда что вы предлагаете?

Остер сказал тише:

— Подготовиться.

— К чему?

— К моменту, когда Бек поймёт, что рапортами его не остановить.

Канарис долго молчал.

— И вы уверены, что такой момент наступит?

— Да.

— Я нет.

Остер почти вспылил:

— После всего?

— Именно после всего.

— Объясните.

Адмирал подошёл к окну.

— Гитлер пока выигрывает. Рейн. Австрия. Армия растёт. Безработица уменьшилась. Люди видят результат. Попробуйте свергнуть его сегодня и объяснить стране, что сделали это потому, что боялись войны, которая ещё не началась.

Остер сжал губы.

— Значит, ждать войны?

— Я не сказал.

— Тогда чего?

Канарис помолчал.

— Ошибки.

— Его?

— Такой, которую увидят не только мы.

Остер медленно покачал головой.

— А если следующая ошибка и будет войной?

Адмирал не ответил.

* * *

В Праге в те же дни лето становилось всё теплее. На Влтаве появлялись лодки. К вечеру кафе заполнялись. Туристы фотографировали Старый город, словно европейские столицы обладали особым договором с историей, запрещавшим ей вмешиваться в хорошую погоду. Бенеш не разделял этого спокойствия. После майского кризиса переговоры с судетскими немцами продолжались, но всякий раз возникало ощущение, что предмет разговора меняется быстрее, чем правительство успевает готовить предложения. Годжа пришёл к нему с очередным докладом.

— Есть хорошая новость.

Бенеш посмотрел поверх очков.

— Последнее время я их боюсь.

— Тогда назову просто новостью. Часть немецких представителей считает наши предложения серьёзными.

— Генлейн?

— Я сказал «часть».

— Значит, нет.

Годжа сел.

— Вы заранее решили, что он откажется.

— Нет.

— Похоже.

Бенеш пролистал документ.

— Я решил только одно: если Берлин не хочет соглашения, Генлейну будет очень трудно согласиться.

— А если хочет?

Президент поднял взгляд.

— Вы верите?

Годжа вздохнул.

— Я хочу.

— Это не одно и то же.

— Вы сами учите меня, что в политике иногда приходится работать с тем, что есть.

Бенеш улыбнулся.

— Плохо влияю.

— Давно.

Он наклонился вперёд.

— Эдвард, скажите честно. Где предел уступок?

Бенеш замолчал.

— Территориальная целостность.

— Это лозунг.

— Нет.

— Если дадим широкую автономию, формально территория останется нашей.

— Пока решения Праги там исполняются.

— Если полиция местная?

— Опасно.

— Администрация немецкая?

— Обсуждаемо.

— Налоги?

— Частично.

— Образование?

— Разумеется, широкие полномочия.

— Армия?

— Нет.

Годжа кивнул.

— Вот. Мы уже торгуемся сами с собой.

Бенеш снял очки.

— Лучше с собой, чем потом с Гитлером.

— Думаете, до него дойдёт?

— Это уже дошло до него.

Годжа помолчал.

— Иногда мне хочется, чтобы он просто сказал, чего хочет.

— Нет.

— Почему?

— Потому что тогда, вероятно, выяснится, что мы не можем дать.

— А пока?

— Пока существует шанс, что Европа будет настаивать на компромиссе, а не на капитуляции.

Годжа посмотрел на него.

— Вы всё ещё доверяете Франции?

Бенеш ответил не сразу.

— Я доверяю французским интересам.

— Это хуже или лучше?

— Надёжнее.

— А Британии?

Президент чуть усмехнулся.

— Британия ещё сама решает, где начинаются её интересы в Центральной Европе.

Они замолчали. За окнами Пражского града страна продолжала жить. Никто там не знал, что в Берлине некоторые генералы уже начинают обсуждать не только военную готовность, но предел собственного повиновения. В этом заключалась странная асимметрия кризиса: чехословацкое руководство размышляло, как сохранить государство, а часть германских военных постепенно начинала размышлять, как сохранить своё.

* * *

27 июня Бек позвонил Браухичу сам.

— Вы видели последние оценки по западному направлению?

— Да.

— И?

— Что «и»?

— Передадите наверх?

Браухич устало сказал:

— Людвиг, у меня не существует прямого доступа к фю-

реру каждый раз, когда вы пишете десять страниц.

— Тогда объедините.

— Что?

— Все выводы. Я хочу, чтобы он получил позицию сухопутной армии.

На другом конце линии повисла пауза.

— Сухопутной армии или вашу?

Бек почувствовал раздражение.

— Если вы считаете иначе, напишите.

— Не так просто.

— Именно так.

— Нет. Многие командующие согласны, что большая война опасна. Это не означает, что они поддержат ваш вывод о необходимости отказаться от силового давления.

— Тогда соберите их.

— Зачем?

— Чтобы узнать.

— И что вы предлагаете устроить? Совет генералов?

— Да.

Браухич рассмеялся коротко и без веселья.

— Вы серьёзно.

— Совершенно.

— В армии существует командование, а не голосование.

— Я не предлагаю голосовать о приказе. Я предлагаю узнать нашу профессиональную оценку.

— И поставить людей в положение, где им придётся вы-

бирать?

— Именно.

— Зачем?

Бек удивился.

— Потому что скоро выбирать всё равно придётся.

— Вы не знаете.

— И вы не знаете обратного.

Браухич тяжело вздохнул.

— Я подумаю.

— Когда?

— Не начинайте.

— Вальтер, июнь заканчивается.

— Я знаю календарь.

— А штаб уже работает на октябрь.

— Тоже знаю.

— Тогда думайте быстрее.

Браухич положил трубку. Разговор закончился плохо. Но впервые идея совещания высших командующих была произнесена прямо. Это было мало — и всё же больше, чем вчера.

На следующий день Бек встретился с Гальдером. В кабинете было душно, окно открыли, но воздух почти не двигался.

— Браухич думает собрать командующих, — сказал Бек.

Гальдер поднял брови.

— Уже решил?

— Пока думает.

— Значит, не хочет.

Бек усмехнулся.

— Вы становитесь циником.

— Работа располагает.

Он сел.

— И что вы хотите от этого совещания?

— Единой позиции.

— Не будет.

— Почему?

— Потому что Рейхенау не скажет то же, что скажет Адам. Другие начнут оглядываться на Браухича. Кто-нибудь обязательно напомнит об Австрии.

— Я знаю.

— Тогда?

Бек подошёл к окну.

— Пусть хотя бы станет ясно, кто что думает.

— Вам?

— Всем.

Гальдер некоторое время рассматривал его со спины.

— Вы готовите коллективную отставку.

Бек медленно повернулся.

— Кто сказал?

— Вы. Последние две недели. Только разными словами.

Бек вернулся к столу.

— Я считаю, что она может стать последним средством давления.

— Он примет.

— Что?

— Отставки.

Бек нахмурился.

— Всех?

— Всех не будет. А оставшихся заменит.

— Если уйдут командующие армиями и группами армий одновременно, это невозможно скрыть.

Гальдер пожал плечами.

— Он скажет, что омолаживает руководство.

— И армия поверит?

— Армия поверит приказу о новых назначениях.

Бек помолчал.

— Вы считаете идею бессмысленной?

— Нет.

— А что?

— Недостаточной.

Ответ прозвучал неожиданно. Бек внимательно посмотрел на него.

— Продолжайте.

Гальдер наклонился вперёд.

— Если вы действительно убеждены, что речь идёт о судьбе Германии, нельзя строить всё на том, что Гитлер испугается нескольких рапортов. Представьте: командующие подают в отставку, Гитлер принимает. Что дальше?

— Возникает кризис.

— У него или у нас?

Вопрос был неприятным.

— У государства.

— Нет, Людвиг. Государство сейчас устроено так, что кризис генералов не обязательно становится кризисом режима.

Бек молчал.

— Тогда что вы предлагаете?

Гальдер встал.

— Пока — добиться, чтобы все генералы хотя бы признали опасность.

— А потом?

— Посмотрим.

Бек раздражённо сказал:

— Все вокруг меня хотят посмотреть.

— Потому что альтернатива — действовать до того, как существует уверенность.

— Уверенности не будет.

— Тогда и действие будет похоже на мятеж.

Бек замолчал. Гальдер произнёс слово, которого пока избегали. Мятеж. Оно сразу изменило воздух в комнате. Бек подошёл к столу и начал складывать бумаги.

— Мы ещё не там.

— Знаю.

— И я не хочу туда приходить.

— Я тоже.

Они посмотрели друг на друга. Гальдер сказал тише:

— Но, похоже, дорога есть.

* * *

29 июня Людвигу Беку исполнилось пятьдесят восемь лет. Утром в кабинете появились цветы и несколько поздравлений. Офицеры заходили один за другим. Кто-то шутил о возрасте, кто-то желал здоровья. Адъютант принёс подарок от сотрудников. Несколько минут Бек почти позволил себе почувствовать обычность дня. Затем на стол положили очередные материалы по Чехословакии. Он посмотрел на них и усмехнулся.

— Очень заботливо.

Адъютант не понял.

— Что именно?

— Подарок.

— Это не подарок, господин генерал.

— Именно.

Он открыл папку. Через час праздник закончился окончательно. После обеда зашёл старый сослуживец. Они выпили по маленькой рюмке коньяка.

— Пятьдесят восемь, Людвиг.

— Не напоминайте.

— Генералы вашего возраста обычно мечтают о спокойной должности.

— Я тоже.

— Плохо мечтаете.

Бек улыбнулся.

— Видимо.

Собеседник посмотрел на бумаги.

— Всё чехи?

— Они.

— Полагаете, будет война?

— Я уже устал отвечать.

— Тогда не отвечайте.

Некоторое время они говорили о прошлом: о Первой мировой, о рейхсвере, о годах, когда немецкой армии позволялось иметь сто тысяч человек и почти каждый офицер знал другого хотя бы по фамилии. Тогда многие мечтали вернуть Германии сильную армию. Бек тоже. Они считали ограничения Версаля унижением, считали необходимым восстановление военной мощи, хотели, чтобы Германия снова была государством, к которому относятся серьёзно. Теперь мечта в значительной степени осуществилась. И от этого становилось особенно горько.

— Странная вещь, — сказал Бек.

— Какая?

— Мы двадцать лет боялись, что Германия останется слишком слабой.

Собеседник поднял рюмку.

— А теперь?

— Теперь я начинаю бояться, что кто-то примет силу за неуязвимость.

Тот внимательно посмотрел на него.

— Вы говорите о Гитлере?

Бек не ответил. Ответ был очевиден.

— Людвиг, — тихо сказал гость, — вы далеко зашли.

— Куда?

— Внутри себя.

Бек улыбнулся без радости.

— Это ещё не государственная измена.

— Пока.

Оба услышали знакомое слово. Бек поставил рюмку.

— Сегодня все решили поздравлять меня им?

— Чем?

— «Пока».

* * *

Вечером дома было спокойнее. За столом не говорили о Чехословакии первые двадцать минут. Это почти удалось считать подарком. Потом дочь спросила:

— Что тебе пожелали на службе?

— Здоровья.

— Банально.

— Генералы вообще не очень изобретательны в поздравлениях.

— А ты чего хочешь?

Бек задумался.

— От дня рождения?

— От следующего года.

Он усмехнулся.

— Дожить до следующего дня рождения было бы разумным началом.

— Я серьёзно.

Бек посмотрел на неё.

— Чтобы через год мне не пришлось вспоминать этот июнь как последний месяц, когда войну ещё можно было предотвратить.

Она перестала улыбаться.

— Ты действительно так думаешь?

— Иногда.

— А в другие моменты?

— Убеждаю себя, что преувеличиваю.

— Получается?

— Всё хуже.

За столом возникла тишина.

— Ты говорил, что можешь уйти.

— Да.

— Теперь хочешь?

Бек медленно покачал головой.

— Один — нет.

— Почему?

— Потому что один генерал, подавший в отставку, — это кадровая проблема.

— А несколько?

Он посмотрел на неё.

— Это уже вопрос.
— Для кого?
— Именно это я хочу выяснить.
Она ничего больше не спросила.
* * *

30 июня Бек пришёл на службу раньше обычного. На столе лежала чистая бумага. Он долго ничего не писал. Потом провёл сверху короткую линию. Не служебную записку. Не меморандум. Для себя. Военное руководство обязано предупредить. Предупреждение должно быть единым. Если предупреждение отклонено, ответственность не заканчивается. Пребывание в должности после окончательного отклонения принципиальной профессиональной оценки может быть истолковано как согласие. Он остановился. Последняя фраза показалась слишком резкой. Перечитал. Не зачеркнул. Потом написал ниже: Совместный уход высших командующих? Вопросительный знак. Бек долго смотрел на него. Ещё несколько недель назад подобная запись показалась бы ему почти нелепой. Генералы не объявляют забастовку, не создают фракцию, не торгуются с главой государства коллективным увольнением. Но обычные способы предполагали обычное государство. А он всё меньше был уверен, что находится именно в таком. В дверь постучали. Бек накрыл лист другой бумагой — и сразу заметил этот жест. Почти такой же, какой несколькими неделями раньше совершил офицер, читавший директиву 30 мая. Человек прячет не всегда то, чего не имеет

права читать другой. Иногда он прячет собственную мысль, потому что ещё не готов услышать её вслух.

— Войдите.

Адъютант принёс утреннюю почту.

— Что-нибудь срочное?

— Несколько документов из оперативного отдела.

— Оставьте.

Адъютант положил папки и уже направился к двери, когда Бек спросил:

— Вы когда-нибудь думали об отставке?

Тот растерялся.

— Я?

— Да.

— Нет, господин генерал.

— Почему?

— Не было причины.

Бек кивнул.

— Хороший ответ.

— Что-то случилось?

— Нет.

Адъютант ещё секунду смотрел на него.

— Тогда разрешите идти?

— Конечно.

Дверь закрылась. Бек снова достал лист. Совместный уход высших командующих? Вопросительный знак раздражал. Он взял карандаш, хотел убрать его — и не стал. Пока это

оставалось вопросом. И именно так закончился июнь. Не заговором, не приказом о неповиновении, не решением арестовать Гитлера. Всего лишь мыслью человека, который всю жизнь считал подчинение одной из основ военной службы и теперь впервые всерьёз задавался вопросом: может ли наступить момент, когда правильное исполнение долга требует отказаться от должности, дающей право исполнять приказы? За окном начинался обычный летний день. В кабинетах Генерального штаба продолжали работать над «Зелёным». На железнодорожных картах уточняли маршруты, инженеры считали бетон, разведчики изучали укрепления, снабженцы сводили таблицы. Никто ещё не объявлял войну, никто не отказывался от повиновения, никто не говорил о государственном перевороте как о готовом плане. Но первая часть пути уже была пройдена. В марте Бек смотрел на германские колонны в Австрии и видел технические недостатки армии, скрытые политическим триумфом. В апреле он спорил с картой. В мае — с решением Гитлера. В июне — с собственным представлением о том, где заканчиваются обязанности генерала.

Следующий шаг был гораздо опаснее. Нужно было обратиться к другим и спросить не то, согласны ли они с его расчётами. С этим многие соглашались. Нужно было спросить: что вы готовы сделать, если нас не услышат? Именно на этот вопрос летом 1938 года германскому генералитету предсто-

яло отвечать. Большинство ещё надеялось, что ответа не понадобится. Людвиг Бек уже начинал подозревать обратное.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ЕСЛИ ОН ОТДАСТ ПРИКАЗ

Глава 11. Один за другим
1–10 июля 1938 года

Июль пришёл в Берлин жарким. К полудню каменные фасады начинали отдавать накопленное тепло, окна в служебных кабинетах открывали настежь, но облегчения это почти не приносило. Бумаги на столах шевелились от слабого сквозняка, чернила сохли быстрее обычного, офицеры снимали кители, когда оставались одни, а затем поспешно надевали их снова при каждом стуке в дверь. В Генеральном штабе лето почти не ощущалось. Там уже жили осенью. Первое октября незримо присутствовало в расчётах, графиках, требованиях к соединениям. Четыре месяца, казавшиеся обычному человеку долгим сроком, для штаба сокращались с каждым новым уточнением. Железные дороги требовали проверки. Части — доукомплектования. Западные укрепления — ускоренного строительства. Разведывательные сведения о чехословацкой обороне устаревали почти сразу после того, как попадали на стол. Людвиг Бек теперь смотрел на эту работу иначе, чем ещё месяц назад. Он

больше не надеялся, что достаточно представить один безупречный расчёт, после которого политическое руководство остановится.

Цифры уже были. Предупреждения тоже. Их читали. Спорили. Возвращали. Но работа продолжалась. Поэтому в первые дни июля Бек начал делать то, чего избегал до сих пор: разговаривать с людьми не как начальник Генерального штаба с исполнителями, а как один генерал с другим. По одному. Без протокола. Без секретаря. Без возможности спрятаться за общим мнением совещания. Первым пришёл генерал, с которым Бек служил достаточно давно, чтобы не объяснять ему азы собственного расчёта. Они начали с обычных дел. Состояние соединений. Офицерские кадры. Моторизация. Через десять минут Бек закрыл папку.

— Хорошо. Теперь неофициально.

Собеседник чуть улыбнулся.

— После этих слов обычно начинается самое официальное.

— Именно поэтому и предупреждаю.

Генерал откинулся в кресле.

— Слушаю.

Бек не торопился.

— Если приказ по Чехословакии будет отдан осенью, что вы думаете?

— О приказе?

— О войне.

— Это разные вещи.

— Поэтому я и спрашиваю о втором.

Генерал посмотрел на открытое окно. С улицы доносился шум автомобиля.

— Если Франция останется в стороне, мы справимся.

— «Справимся»?

— Разгромим чехов.

— Сколько времени?

— Не знаю.

— Потери?

— Тоже.

— А укрепления?

— Прорвём.

Бек почти улыбнулся.

— Сегодня у вас удивительно точные оценки.

— Вы знаете, что я имею в виду.

— Знаю.

Он наклонился вперёд.

— Теперь Франция не остаётся в стороне.

Генерал помолчал.

— Тогда хуже.

— Насколько?

— Очень.

— Проиграем?

— Я этого не сказал.

— А я спросил.

Генерал раздражённо вздохнул.

— Людвиг, войну нельзя свести к двум ответам.

— Именно это я пытаюсь объяснить людям, которые исходят из одного.

— Кому?

Бек не ответил. Не требовалось.

— Хорошо, — сказал собеседник. — При серьёзном французском наступлении на западе положение будет крайне опасным.

— Британия?

— Не думаю.

— Что именно?

— Что она вступит сразу.

— Почему?

— Чемберлен не хочет войны.

— Я тоже.

— Не сравнивайте.

— Почему? Желание одно.

Генерал усмехнулся.

— Вы не премьер-министр Великобритании.

— И потому могу позволить себе честнее признать, что одного желания недостаточно.

Собеседник помолчал.

— Что вы от меня хотите?

Вот. До этого момента почти каждый разговор шёл легко. Об опасности войны генералы говорили охотно. Здесь начи-

налось другое.

— Чтобы вы сказали то же самое Браухичу.

— Я говорил.

— Насколько ясно?

— Достаточно.

— Для чего?

— Что значит «для чего»?

— Чтобы он знал ваше мнение или чтобы был вынужден с ним считаться?

Генерал нахмурился.

— Вы хотите собрать подписи?

— Может быть.

— Под чем?

— Под общей оценкой.

— Не нравится мне это.

— Оценка или подпись?

— Форма.

Бек усмехнулся.

— Форма почему-то начинает беспокоить людей именно тогда, когда содержание требует поступка.

— Не передёргивайте.

— Не собираюсь.

Он некоторое время молчал.

— Если Браухич созовёт командующих и поставит вопрос прямо, вы скажете то, что сейчас сказали мне?

Генерал ответил не сразу.

— Да.

— Хорошо.

— Но...

Бек прикрыл глаза.

— Конечно.

— Что «конечно»?

— Я ждал это слово.

— Я хотел сказать: но я не считаю, что армия должна ставить политические условия.

— Я тоже.

— Похоже иначе.

— Я хочу, чтобы армия дала профессиональное заключение.

— А если Гитлер его отвергнет?

Бек посмотрел на него.

— Вот тогда и начнётся настоящий разговор.

Генерал встал.

— Значит, пока вы сами не знаете, чего хотите.

— Знаю больше, чем месяц назад.

— Не лучший ответ.

— Другого пока нет.

У двери собеседник обернулся.

— Людвиг.

— Да?

— Если всё снова закончится как с Австрией, вы будете выглядеть человеком, который чуть не парализовал армию

из-за страха перед войной, которой не случилось.

Бек спокойно кивнул.

— Знаю.

— И это вас не беспокоит?

— Беспокоит.

— Тогда?

— Меня больше беспокоит обратная ошибка.

— Какая?

— Что однажды мы начнём войну потому, что предыдущие несколько раз она не началась.

Генерал ничего не ответил. Когда дверь закрылась, Бек сделал на листе короткую пометку. Не имя. Всего два слова: Согласен. Условно. К концу недели таких записей станет много.

* * *

В Лондоне июльский воздух был прохладнее, но настроение в правительственных кабинетах легче от этого не становилось. Чехословацкий вопрос всё чаще появлялся среди бумаг премьер-министра, хотя Британия не имела с Прагой такого союзного договора, какой связывал её с Францией. И именно поэтому Невилл Чемберлен считал положение особенно опасным. Британия могла не быть обязана защищать Чехословакию. Но если Германия нападёт, Франция окажется перед собственными обязательствами. Если Франция вступит в войну, вопрос британского нейтралитета перестанет быть отвлечённым. Таким образом, государство, пе-

ред которым Британия формально не имела военной обязанности, могло привести её к войне через третью державу. Чемберлен ненавидел подобные цепочки. Они напоминали ему 1914 год, когда союзные планы, мобилизационные сроки и обязательства превратили локальный кризис в войну, которую в итоге почти никто не хотел в том виде, в каком она произошла. На столе перед ним лежал очередной обзор ситуации в Чехословакии. Галифакс сидел напротив.

Чемберлен поднял лист.

— Они всё ещё не договорились.

— Было бы удивительно, если бы договорились быстро.

— Я не жду быстро.

Премьер положил бумагу.

— Я хочу понимать, существует ли вообще соглашение, которое Генлейн способен принять.

Галифакс немного помолчал.

— Возможно, вопрос стоит иначе.

— Как?

— Существует ли соглашение, которое ему позволят принять.

Чемберлен посмотрел внимательнее.

— Берлин?

— Разумеется.

— У нас есть доказательства?

— Достаточно признаков.

— Признаки — не доказательства.

— В дипломатии редко приносят подписанное признание чужого умысла.

Чемберлен встал и подошёл к окну.

— Если требования действительно управляются из Берлина, это меняет дело.

— Да.

— Но не обязательно так, как хотелось бы Праге.

Галифакс понял.

— Вы имеете в виду, что чехам всё равно придётся предложить серьёзные уступки.

— Именно.

Чемберлен повернулся.

— Если Гитлер хочет использовать судетское недовольство как повод, нужно лишить его этого повода.

— А если каждый компромисс будет приводить к новому требованию?

Премьер помолчал.

— Тогда это станет видно.

— Кому?

— Всем.

Галифакс слегка приподнял бровь.

— Даже нам?

Чемберлен уловил иронию.

— Особенно нам.

Он снова сел.

— Я не намерен рисковать европейской войной ради по-

ложения, которое можно исправить разумной автономией.

— А если автономия не является целью Германии?

— Тогда будем иметь дело с другим вопросом.

— Когда?

Чемберлен раздражённо посмотрел на него.

— Что вы хотите от меня, Эдуард? Объявить сегодня, что Британия пойдёт на войну из-за границы, которую ещё можно изменить переговорами?

— Нет.

— Тогда?

Галифакс говорил спокойно:

— Я хочу понять, где проходит наша граница.

— В каком смысле?

— Мы постоянно говорим Праге: будьте разумнее. Парижу: не связывайте себя слишком жёстко. Берлину: не применяйте силу.

Он сделал паузу.

— А если в какой-то момент только одна сторона перестанет быть разумной?

Чемберлен медленно снял очки.

— Вы предполагаете, что это будет Германия.

— Я предполагаю, что это возможно.

— Конечно, возможно.

Премьер устало потёр глаза.

— Но наша задача — сделать так, чтобы до этого момента не дошло.

— Согласен.

— Тогда зачем вести себя так, словно война неизбежна?

Галифакс посмотрел на него.

— По той же причине, по которой армия готовит планы войны, надеясь их не применять.

Чемберлен усмехнулся.

— Неудачное сравнение.

— Возможно.

— Военные планы имеют привычку приобретать собственную жизнь.

— Именно поэтому сравнение мне и нравится.

Несколько секунд оба молчали. Чемберлен снова взял бумаги.

— Что говорит Кадоган?

— Что нам нужно лучше понимать позицию французов.

— Я и без него знаю.

— Знать, что они думают, и знать, что они сделают, — не одно и то же.

Чемберлен посмотрел на него.

— Вы сегодня решили быть неприятно точным.

— Должность располагает.

Премьер невольно улыбнулся. Затем лицо снова стало серьёзным.

— Если немцы перейдут границу, французы действительно выступят?

— Они говорят, что да.

— Это не ответ.

— Тогда у нас нет другого.

Чемберлен отложил бумаги.

— Именно это меня и беспокоит.

В Берлине Бек задавал своим генералам почти тот же вопрос. В Париже его задавали министры друг другу. Ни один из них этого не знал. И всё же к началу июля политика четырёх государств всё больше зависела от ответов, которые каждое пыталось угадать в чужой столице.

В Париже вопрос звучал иначе. Франция не могла позволить себе британскую дистанцию. На бумаге её обязательства были значительно яснее. На практике ясность договора вовсе не означала ясности решения. Жорж Бонне сидел перед Даладье с выражением человека, который уже знает, что разговор ему не понравится. Премьер листал донесение из Праги.

— Они готовят новые предложения.

— Хорошо.

— Вы даже не спросили какие.

— Потому что пока важнее, что предлагают.

Даладье поднял голову.

— Разве?

— Конечно.

Бонне говорил уверенно.

— Если Прага покажет готовность к широкой автономии, у Гитлера станет меньше оснований утверждать, что немцев

угнетают.

— Вы уверены, что основания ему нужны?

Бонне помолчал.

— Всем нужны.

— Для пропаганды.

— И для дипломатии.

Даладье положил документ. Он выглядел усталым. За предыдущие месяцы Чехословакия постепенно превратилась для французского правительства из союзника в вопрос, на который невозможно было дать хороший ответ. Если Франция заранее заявит, что вступит в войну при любых обстоятельствах, Прага может почувствовать себя свободнее в переговорах. Если Франция начнёт давить на Прагу, германское руководство решит, что союз не стоит бумаги, на которой написан. Если Париж проявит слабость, рухнет доверие к французским гарантиям в Восточной Европе. Если проявит чрезмерную твёрдость, страна может оказаться в войне, к которой общество и армия не стремились.

— Что говорят военные? — спросил Бонне.

— Вы знаете.

— Хочу услышать от вас.

Даладье нахмурился.

— Не люблю, когда министр иностранных дел просит меня пересказать собственный Генеральный штаб.

— Потому что ответ неудобный?

— Потому что вы используете военные оценки как аргу-

мент за дипломатическую капитуляцию.

Бонне сразу напрягся.

— Я этого не говорил.

— Нет. Вы говорите «нужно избежать войны». Обычно следующий шаг именно такой.

— А вы хотите войны?

Даладье резко поднял глаза.

— Не задавайте глупых вопросов.

— Тогда мы согласны в главном.

— Нет.

Премьер встал.

— Вы всё время превращаете нежелание войны в политику.

— А что в этом плохого?

— То, что противник может это заметить.

Бонне тоже поднялся.

— Гитлер и так знает, что Франция не хочет новой войны.

— Конечно знает.

— Тогда что вы предлагаете? Притворяться?

— Нет. Сделать так, чтобы он не путал нежелание с отказом.

Бонне несколько секунд смотрел на него.

— То есть вы готовы идти войной из-за Судет?

— Я готов выполнять обязательства Франции, если Германия нападёт на Чехословакию.

— Даже если Прага сама отвергнет разумное соглашение?

Даладье замолчал. Вот где находился настоящий узел. Не абстрактный договор. Конкретное поведение Чехословакии. Если Бенеш действительно предложит судетским немцам широкое равноправие и автономию, а Гитлер всё равно применит силу, французская позиция станет морально и политически яснее. Если Прага будет выглядеть непримиримой, всё изменится.

— Поэтому мы должны заставить их вести переговоры, — сказал Бонне.

— «Заставить»?

— Убедить.

Даладье усмехнулся.

— Хорошо, что дипломатия располагает таким количеством слов для одного действия.

Бонне не улыбнулся.

— Если Прага будет упрямиться, французский крестьянин не поймёт, почему его сын должен погибнуть за то, что чешское правительство не захотело договориться со своими немцами.

— А если Прага уступит всё, кроме собственной независимости?

— Это демагогия.

— Нет.

Даладье подошёл ближе.

— Я хочу знать, где закончится ваше «разумное соглашение».

— Автономия.

— Если Гитлер потребует территорию?

— Будем обсуждать.

— Уже?

— Я сказал — если.

Даладье медленно покачал головой.

— Жорж, иногда у меня ощущение, что вы рассматриваете каждую уступку как способ купить ещё одну неделю.

— А если неделя предотвращает войну?

— Тогда она бесценна.

— Вот видите.

— Но если за каждую неделю мы платим тем, что следующая позиция становится хуже?

Бонне раздражённо сказал:

— Вы рассуждаете как военный.

— Сегодня это комплимент.

Они замолчали. На столе лежала карта Центральной Европы. После марта положение Чехословакии действительно стало хуже. Германская территория охватывала её с новых направлений. В Париже это понимали не хуже Праги. Бонне подошёл к карте.

— Посмотрите.

Он провёл пальцем вдоль границ.

— Даже если мы захотим помочь им, как?

— Это вопрос Генерального штаба.

— Нет, Эдуар. Это вопрос политики. Мы имеем союз с го-

сударством, к которому не можем послать французскую армию напрямую.

— Значит, должны удержать Германию угрозой западного фронта.

— Если Британия будет с нами.

Даладье посмотрел на него.

— Вот наконец.

Бонне нахмурился.

— Что?

— Настоящий вопрос.

Премьер постучал пальцем по карте.

— Не «пойдёт ли Франция за Чехословакию».

Он поднял взгляд.

— Пойдёт ли Британия за Францией?

Бонне не ответил. Потому что именно этого в Париже не знали наверняка. И пока ответ оставался неопределённым, французская твёрдость тоже имела предел.

* * *

В тот же день в Берлине Бек разговаривал со вторым генералом. Потом с третьим. Картина повторялась. Отличались слова. Не смысл. Один говорил:

— Франция блефует.

Бек спрашивал:

— А если нет?

Ответ:

— Тогда положение тяжёлое.

Другой утверждал:

— Британия не вмешается.

— Почему?

— Потому что Чехословакия не стоит европейской войны.

— Для Британии?

— Для любого разумного государства.

Бек отвечал:

— Вы сейчас оценили не Британию, а собственный разум.

Третий был откровеннее.

— Людвиг, я хочу Судеты.

— Я тоже считаю послевоенное устройство несправедливым во многих отношениях.

— Тогда о чём спор?

— О цене.

— Вы всегда о цене.

— Кто-то должен.

Генерал раздражённо сказал:

— Три миллиона немцев не могут вечно жить под Прагой.

Бек посмотрел на него.

— Если ради их положения Германия получит миллион убитых, вы назовёте это освобождением?

— Манипуляция.

— Нет. Вопрос.

— Не будет миллиона.

— Откуда знаете?

— Откуда вы знаете обратное?

Вот так разговор каждый раз возвращался к одному и тому же. Гитлер обладал преимуществом, которого не было у Бека. Он предлагал конкретный результат. Судеты. Ослабление Чехословакии. Усиление Германии. Бек предлагал вероятность катастрофы. Человеку легче поверить в желаемую цель, чем в бедствие, которого ещё не существует. После третьего разговора Бек посмотрел на лист. Согласен с риском. Не поддержит коллективное действие. После четвёртого: Против войны сейчас. Верит в политический успех Гитлера. После пятого: Считает Францию пассивной. В случае приказа выполнит. Он отложил карандаш. В кабинет вошёл адъютант.

— Следующий генерал уже здесь.

Бек посмотрел на часы.

— Сколько их сегодня?

— Четвёртый.

— Кажется, я начинаю понимать, почему врачи принимают пациентов по двадцать минут.

Адъютант улыбнулся.

— Приглашать?

Бек помедлил.

— Через пять минут.

Когда дверь закрылась, он подошёл к окну. Ему вдруг стало ясно, что главная проблема уже не состоит в том, чтобы убедить генералов в опасности. Большинство убеждать почти не требовалось. Они и так видели. Проблема заключа-

лась в другом. Каждый хотел, чтобы между его убеждением и его поступком появился кто-то ещё. Браухич. Франция. Британия. Гитлер. Сам ход событий. Кто угодно, лишь бы необходимость решения пришла извне.

* * *

В Праге Бенеш в первые дни июля тоже разговаривал с людьми по одному. Но вопросы были другими. Министр. Генерал. Представитель немецких партий. Советник. Он пытался понять, сколько ещё можно предложить судетским немцам, не начав демонтировать государство собственными руками. Годжа вошёл с очередным проектом национального статута.

— Опять?

Бенеш посмотрел на толщину папки.

— Вы хотели конкретики.

— Я хотел решение.

— Тогда вам в другую профессию.

Президент усмехнулся.

— Вы сегодня в хорошем настроении.

— Я решил попробовать. Плохое ничего не изменило.

Он сел.

— Здесь расширение языковых прав. Представительство в администрации. Новые принципы финансирования районов. Более широкая компетенция местных органов.

Бенеш листал.

— Полиция?

— Центральное подчинение.

— Разумеется.

— Генлейн будет против.

— Скорее всего.

— Тогда зачем?

— Чтобы было ясно, что автономия не означает государство в государстве.

Годжа посмотрел на него.

— А если именно это он и хочет?

— Тогда откажется.

— А мы?

— Сделаем следующий шаг.

— Какой?

Бенеш поднял глаза.

— Не знаю.

Годжа откинулся назад.

— Вы в последнее время часто это говорите.

— Потому что ситуация всё реже позволяет честно говорить другое.

Премьер помолчал.

— Лондон опять спрашивает о ходе переговоров.

— Конечно.

— Париж тоже.

— Конечно.

— Вам не кажется, что они проверяют не Генлейна, а нас?

Бенеш медленно закрыл папку.

— Кажется.

— Не раздражает?

— Очень.

— Тогда почему вы так спокойно отвечаете?

Президент посмотрел на него.

— Потому что раздражение маленького государства редко является аргументом для великого.

Годжа нахмурился.

— Мы не маленькое государство.

— На карте — нет.

Он встал.

— В дипломатии размер иногда определяется не квадратными километрами.

— А чем?

— Количеством держав, которые обязаны спросить вашего согласия прежде, чем решат вашу судьбу.

Годжа молчал. Бенеш подошёл к окну.

— Пока они ещё спрашивают.

— А потом?

— Поэтому и нужно договориться сейчас.

— С Генлейном?

— Если возможно.

— А с Гитлером?

Президент повернулся.

— Вот этого я боюсь больше.

* * *

В Лондоне несколько дней спустя Александр Кадоган пришёл к Галифаксу с бумагами из дипломатической переписки. Разговор начался с технических вопросов и почти незаметно перешёл к тому, о чём в последние месяцы говорили всё чаще.

— Французы хотят большей ясности, — сказал Кадоган.

Галифакс вздохнул.

— Все хотят ясности от кого-нибудь другого.

— Париж боится, что останется один.

— А мы боимся, что они втянут нас.

— Именно.

Галифакс отложил записку.

— Если Германия действительно нападёт без очевидной провокации, положение изменится.

— Насколько?

— Политически — сильно.

— Военно?

Галифакс посмотрел на него.

— Вы хотите, чтобы министр иностранных дел оценивал готовность армии?

— Нет. Я хочу, чтобы министр иностранных дел знал, чем подкреплена дипломатическая угроза.

Тот помолчал.

— Недостаточно.

— Тогда Германия может это знать.

— Может.

— И французы тоже.

Галифакс нахмурился.

— Что вы предлагаете?

— Ничего. Пока.

— Ненавижу это слово.

Кадоган чуть улыбнулся.

— Оно популярно этим летом.

— У нас нет обязательства перед Чехословакией.

— Нет.

— Но есть Франция.

— Да.

— Если французы выступят...

— Тогда давление на нас будет огромным.

Галифакс провёл рукой по столу.

— И поэтому мы должны не допустить, чтобы они выступили.

Кадоган ответил не сразу.

— Или не допустить, чтобы Германия дала им причину.

Министр посмотрел на него.

— Это не полностью в нашей власти.

— Вот именно.

В комнате стало тихо. Кадоган продолжил:

— Поэтому мне не нравится, когда вся наша политика строится только на уступках Праги.

— Не только.

— Но именно там мы имеем наибольшее влияние.

— Разумеется.

— А значит, давим туда, где легче.

Галифакс медленно поднял взгляд.

— Вы считаете это ошибкой?

— Я считаю это естественным.

Он помолчал.

— Иногда естественные решения и бывают ошибочными.

Министр ничего не сказал. Эта мысль останется в Лондоне надолго. Германию трудно заставить отказаться от требований. Чехословакию легче заставить пойти навстречу. Следовательно, практическое давление почти неизбежно смещалось на Прагу. Но если германские требования действительно не имели конечной точки, каждая успешная британская попытка добиться уступки могла не приближать соглашение, а лишь передвигать линию следующего кризиса. Пока в Лондоне ещё не знали, какая из этих двух логик верна.

* * *

В Париже Бонне знал, какую предпочитает.

— Англичане должны быть вовлечены сильнее.

Он говорил это Даладье уже не впервые.

— Они вовлечены.

— Нет. Они интересуются.

— Для Англии это уже много.

— Недостаточно.

Бонне положил перед премьером телеграмму.

— Если мы окажемся перед немецким нападением, мне

нужно знать заранее, что они сделают.

— И мне.

— Тогда спросите.

— Вы думаете, Чемберлен даст письменную гарантию?

— Нет.

— Вот и ответ.

Бонне нервно прошёлся по кабинету.

— Тогда мы не можем давать Праге ощущение, что французский договор автоматически означает большую европейскую коалицию.

— А договор?

— Я не предлагаю его отменять.

— Вы предлагаете сделать всё, чтобы не пришлось выполнять.

— Разве это плохо?

Даладье посмотрел на него.

— Нет.

Ответ удивил Бонне.

— Тогда...

— Плохо другое.

— Что?

— Если Берлин увидит, что мы готовы на всё, лишь бы не выполнять.

Бонне замолчал. Даладье продолжил:

— Есть разница между тем, чтобы избегать войны, и тем, чтобы убедить противника, что война для нас невозможна.

— Французское общество не хочет войны.

— Немецкое тоже.

— Гитлеру это не мешает.

— Именно.

Бонне раздражённо сел.

— Очень легко быть твёрдым в кабинете.

— И очень легко быть миролюбивым, пока уступает кто-то другой.

Фраза прозвучала резче, чем Даладье хотел. Бонне побледнел.

— Вы обвиняете меня в желании принести Чехословакию в жертву?

— Нет.

— Похоже.

— Я обвиняю нас обоих в том, что мы ещё не знаем, где остановимся.

Это немного изменило тон. Даладье подошёл к карте.

— Я тоже не хочу воевать.

— Знаю.

— Я был на той войне.

Бонне промолчал.

— И именно поэтому, — продолжил Даладье, — я не хочу начинать следующую из-за ошибки в расчёте.

Он указал на Германию.

— Но ошибка может быть не только нашей.

Палец переместился на Британию.

— Если Гитлер решит, что Англия никогда не пойдёт за нами...

Потом на Чехословакию.

— ...а Прага решит, что мы обязательно пойдём за ней...

Он убрал руку.

— ...одна из этих уверенностей может убить очень много людей.

Бонне посмотрел на карту.

— Тогда нужно сделать так, чтобы Прага не была слишком уверена.

Даладье медленно повернулся.

— Вы опять выбрали более лёгкую сторону.

* * *

К 7 июля Бек уже поговорил почти со всеми, кого считал необходимым услышать. Он просматривал собственные записи вечером. Ни одного полного согласия. И почти ни одного настоящего опровержения. Это было даже хуже. Если бы большинство генералов сказало: «Бек ошибается. Война безопасна. Франция не вмешается. Германия готова», он мог бы хотя бы спорить с конкретной позицией. Вместо этого он слышал: «Да, опасно, но...» «Да, не готовы, однако...» «Да, Франция может вступить, но...» «Да, лучше избежать, если...» Германский генералитет стоял перед пропастью и спорил не о том, существует ли она. О том, насколько вероятно, что придётся подойти к краю. Бек вызвал Браухича. На этот раз главнокомандующий пришёл раздражённым.

— Мне сказали, вы проводите опрос армии.

— Интересная формулировка.

— Так это неправда?

— Я разговариваю с генералами.

— О чём?

— Вы знаете.

— Хочу услышать.

Бек протянул лист.

— Общая картина.

Браухич не взял.

— Без имён?

— Пока.

— Почему?

— Потому что хочу, чтобы вы спросили их сами.

Браухич наконец взял бумагу. Прочитал.

— «Большинство признаёт крайне высокий риск европейской войны».

Он поднял глаза.

— Большинство кого?

— Старших командиров, с которыми я говорил.

— «Большинство считает западную оборону недостаточной».

— Да.

— «Большинство не уверено в способности локализовать конфликт».

— Да.

Браухич положил лист.

— И что?

Бек несколько секунд смотрел на него.

— Вы серьёзно?

— Абсолютно.

— Высшее командование армии считает политический курс способным привести к большой войне, к которой мы не готовы.

— Они считают риск.

— Очень высокий.

— Всё равно риск.

Бек встал.

— Вальтер, что должно произойти, чтобы слово «риск» перестало для вас означать разрешение ничего не делать?

— А что вы предлагаете сделать?

— Созвать командующих.

— Мы обсуждали.

— Теперь я прошу официально.

— Зачем?

— Пусть каждый выскажется.

— И потом?

— Передадим общую позицию Гитлеру.

Браухич покачал головой.

— Нет.

— Почему?

— Потому что это будет выглядеть как фронда генерали-

тета.

— А если это и есть фронда?

Браухич резко поднял глаза.

— Вы слышите себя?

— Да.

— Надеюсь, потому что я начинаю сомневаться.

Бек подошёл ближе.

— Мы не обсуждаем налоговую политику. Мы обсуждаем войну.

— Которой нет.

— К которой готовимся.

— Потому что обязаны.

— И если завтра он отдаст приказ?

Браухич ответил сразу:

— Выполним.

В комнате стало тихо. Бек будто ожидал именно этих слов и всё равно не был к ним готов.

— Даже если считаете решение катастрофическим?

— Мы дадим оценку до приказа.

— А после?

— После приказа армия выполняет.

— Значит, всё, что мы сейчас обсуждаем, не имеет значения.

— Имеет.

— Какое?

— Политическое руководство должно знать нашу пози-

цию.

— И может полностью её проигнорировать.

— Да.

Бек медленно кивнул.

— Тогда я наконец понимаю вашу позицию.

Браухич нахмурился.

— Какую?

— Вы считаете ответственность армии заканчивающейся там, где начинается приказ.

— А вы?

Бек ответил не сразу.

— Уже не уверен.

Браухич побледнел.

— Людвиг.

— Нет, дослушайте.

— Не хочу.

— Тогда тем более нужно.

Бек говорил спокойно.

— Если командующий знает, что приказ приведёт государство к катастрофе, обязанность не может превращаться в освобождение от совести только потому, что документ подписан наверху.

— Это путь к мятежу.

Впервые слово прозвучало между ними так прямо. Бек не отвёл взгляд.

— Возможно.

Браухич встал.

— И вы считаете это допустимым?

— Я считаю недопустимым делать вид, что такого вопроса не существует.

— Вы заходите слишком далеко.

— А Гитлер?

Браухич резко взял фуражку.

— Это уже политическая оппозиция.

Бек спокойно сказал:

— Если отказ согласиться на войну, которую считаешь гибельной, называется политической оппозицией, значит, да.

Главнокомандующий остановился. Несколько секунд оба молчали. Бек впервые произнёс это без оговорок. Не «профессиональное несогласие». Не «военная оценка». Оппозиция. Слово не означало ещё заговора. Но после него вернуться к прежней форме разговора было трудно.

— Я не хочу больше слышать это в таком виде, — сказал Браухич.

— Тогда созовите командующих.

— Это угроза?

— Нет.

Бек устало покачал головой.

— Пока ещё просьба.

Браухич ушёл.

* * *

В тот же вечер Чемберлен ужинал поздно. На столе оста-

валась папка, которую он собирался отложить до утра и всё же снова открыл. Германия. Чехословакия. Франция. Он написал несколько слов на полях, затем перестал. Разговор с Галифаксом не выходил из головы. Где британская граница? Чемберлен действительно не хотел войны. Не как политический лозунг. Не как средство понравиться избирателю. Он помнил предыдущую. Почти каждое правительство Европы возглавляли люди, для которых 1914–1918 годы были не историей, а частью собственной жизни. Миллионы погибших. Поколение искалеченных. Долги. Разрушенные империи. Революции. И теперь какие-то люди говорили о твёрдости так, словно твёрдость сама по себе была добродетелью. Премьер не верил в это. Иногда твёрдость была всего лишь другим словом для неспособности отступить. Но и уступка могла стать тем же. Он закрыл папку. Вошла жена и остановилась у двери.

— Опять Германия?

Чемберлен поднял глаза.

— Откуда вы все знаете?

— Потому что другие бумаги вы читаете быстрее.

Он улыбнулся.

— Наблюдательность опасна для семейной жизни политика.

Она подошла.

— Будет война?

Он помолчал.

— Я намерен сделать всё, чтобы не было.

— Это не ответ.

Чемберлен посмотрел на неё. Несколько недель назад он мог бы сказать увереннее. Теперь не мог.

— Тогда не знаю.

Она села напротив.

— Гитлер хочет войны?

— Вот это и есть вопрос.

— А если хочет?

Чемберлен посмотрел на закрытую папку.

— Тогда нам придётся понять это раньше, чем он решит, что мы никогда не станем ему мешать.

Фраза удивила его самого. Он больше ничего не сказал. Но на следующий день снова потребовал свежие оценки из Берлина.

* * *

В Париже Даладье тоже унес работу домой. Он этого не любил. Дом должен был оставаться хотя бы частично домом, иначе политика постепенно поглощала всё пространство человека. Но чехословацкая папка лежала на столе. Он подошёл к ней поздно вечером. Открыл. Прочитал французские оценки немецкой армии. Затем британские сообщения. Затем донесение из Праги. В каждом документе имелась своя логика. Ни один не давал решения. Если бы он знал наверняка, что Британия вступит в войну вслед за Францией, одна часть сомнений исчезла бы. Если бы знал, что Гитлер оста-

новится после уступок судетским немцам, исчезла бы другая. Если бы знал, что Прага готова на компромисс, третья. Но государственные деятели почти никогда не получают такую роскошь. Они принимают решения в темноте, располагая несколькими фонарями, каждый из которых освещает только часть комнаты. Даладье закрыл папку. В памяти всплыла фраза Бонне: нужно сделать так, чтобы Прага не была слишком уверена. Он понимал логику. Но существовала и обратная.

Нужно было сделать так, чтобы Берлин не был слишком уверен тоже. Проблема заключалась в том, что для этого требовалась Британия. А Британии для решимости требовалась уверенность во Франции. Так две державы, считавшиеся сильнейшими противовесами Германии на Западе, летом 1938 года всё чаще смотрели друг на друга, ожидая, кто первым произнесёт обязательство, от которого потом нельзя будет отказаться.

* * *

10 июля Бек закончил последнюю беседу поздно вечером. Генерал, сидевший напротив, был одним из немногих, кто не пытался смягчать выводы.

— Мы не готовы к европейской войне.

— Согласен.

— Если Франция выступит серьёзно — положение опасное.

— Согласен.

— Британия может вступить.
— Да.
Бек почти удивился.
— Вы сегодня решили лишить меня работы?
— Вы хотели честность.
— Очень.
— Вот она.
— Тогда главный вопрос.
Генерал усмехнулся.
— Я ждал.
— Если Гитлер не изменит решения?
Тот долго молчал.
— Вы хотите услышать, что я подам в отставку?
— Я хочу услышать, что вы сделаете.
— Не знаю.
Бек откинулся в кресле.
— Вы первый за неделю, кто так ответил.
— Остальные знают?
— Удивительно хорошо.
Генерал улыбнулся.
— Тогда я, вероятно, глупее.
— Или честнее.
— Не спешите.
Он встал и подошёл к карте.
— Людвиг, я скажу, чего боюсь на самом деле.
— Слушаю.

— Что вы правы слишком рано.

Бек нахмурился.

— Объясните.

— Если мы выступим сейчас, а Гитлер снова получит Судеты без войны, армия будет выглядеть смешно.

— Я знаю.

— Нет. Не только смешно.

Генерал повернулся.

— Побеждённой.

— Кем?

— Им.

Он указал не на карту. В сторону рейхсканцелярии.

— После Рейнской области, Австрии, после всего этого — если генералы скажут: «война неизбежна», а он снова вернётся с победой без войны, кто потом послушает нас вообще?

Бек молчал. Это был самый сильный аргумент недели. Не потому, что опровергал его расчёты. Потому что объяснял психологическую власть Гитлера над военными. Каждый предыдущий успех уменьшал способность генералов возражать против следующего риска.

— И что вы предлагаете? — спросил Бек.

— Доказательство.

— Какое?

— Что война действительно будет большой.

— Франция?

— И Англия.

Бек посмотрел на карту.

— Значит, чтобы немецкие генералы решились остановить собственное правительство, им нужно заявление иностранных держав.

— Звучит отвратительно.

— Но?

— Но да.

Он взял фуражку.

— Если станет ясно, что нападение на Чехословакию означает войну с Францией и Британией, ситуация изменится.

— Для вас?

— Для многих.

— А если Лондон останется неопределённым?

Генерал пожал плечами.

— Тогда все будут надеяться, что Гитлер снова прав.

Он ушёл. Бек остался перед картой. Вот оно. За десять дней разговоров он наконец увидел проблему целиком. Германские генералы ждали ясности от Лондона и Парижа. Париж ждал ясности от Лондона. Лондон хотел прежде убедиться, что Прага сделала всё для соглашения и что Франция не втянет Британию в войну из-за чужой непримиримости. Прага ждала подтверждения, что её союзники не оставят её одну. Каждая столица требовала уверенности от другой. И потому ни одна не могла дать её первой. На столе лежал лист

с записями Бека. Согласен. Условно. Против войны. Приказ выполнит. Считает риск высоким. Коллективного действия не поддержит. Ждёт позиции Англии. Он прочитал последнюю строку ещё раз. Затем подчеркнул. Не потому, что она была важнее остальных. Потому что в ней впервые появлялся выход за стены германского Генерального штаба. Если генералов нельзя убедить только расчётами, возможно, их убедит внешний факт. Не дипломатическая формула. Не британское пожелание мира. А ясное предупреждение:

если Германия нападёт на Чехословакию, война не останется германо-чехословацкой. Людвиг Бек ещё не знал, что через несколько дней его собственные формулировки станут значительно жёстче и что 16 июля он потребует прекратить приготовления к войне, утверждая, что воинское повиновение имеет предел там, где знание, совесть и ответственность не позволяют выполнить приказ. Не знал он и того, что германская оппозиция вскоре начнёт посылать людей в Лондон именно за тем доказательством, которого не хватало генералам. Пока существовали только разговоры. Один генерал за другим. Один кабинет за другим. Берлин спрашивал, вступит ли Франция. Париж — пойдёт ли Британия. Лондон — можно ли заставить Прагу и Генлейна договориться. Прага — выполнят ли союзники обещания, если договориться окажется невозможно. Никто ещё не стрелял. И всё же Европа уже постепенно делилась не на тех, кто хотел войны, и тех, кто хотел мира. Почти все хотели мира.

Она делилась на людей, которые по-разному представляли себе, какая уступка сохранит мир — и какая сделает следующую войну неизбежной.

Глава 12. Присяга

11–20 июля 1938 года

Присяга редко вспоминается каждый день. Человек приносит её однажды — в строю, перед товарищами, в установленной форме, произносит слова, которые в тот момент кажутся совершенно ясными, а затем возвращается к службе. После этого присяга растворяется в привычке. Она присутствует в каждом приказе, но почти никогда не называется. Офицер не спрашивает себя утром, верен ли он ей. Он просто надевает форму, входит в кабинет, читает документы, отдаёт распоряжения и считает, что ответ уже дан много лет назад. Проблемы начинаются тогда, когда два долга, прежде казавшиеся одним, расходятся. Людвиг Бек всё чаще думал именно об этом. После нескольких недель разговоров с генералами он почти перестал сомневаться в главном: значительная часть высшего командования не считала Германию готовой к большой европейской войне осенью 1938 года. Спор шёл уже не об оценке риска. Спор шёл о том, что из этой оценки следует. И каждый раз, когда разговор приближался к пределу повиновения, появлялось одно слово. Присяга. Она возникала не как ссылка на параграф.

Гораздо серьёзнее. Как внутренняя стена. После смерти

Гинденбурга армия больше не присягала конституции или безличному государственному институту. Клятва была обращена непосредственно к Адольфу Гитлеру и требовала безусловного повиновения ему как верховному главнокомандующему. Для человека со стороны это различие могло показаться юридической формальностью. Для немецкого офицера оно не было формальностью вообще. Особенно для поколения, воспитанного в представлении, что данное слово переживает правительства, политические партии и личные симпатии. Бек знал это. Потому что принадлежал к тому же поколению. И именно поэтому 11 июля, когда один из генералов снова произнёс:

— Я могу считать войну ошибкой. Но я присягал.

Бек не ответил сразу. Они находились в его кабинете вдвоём. На столе лежал очередной сводный материал по западной границе, но к нему не притрагивались уже минут двадцать.

— Кому? — спросил наконец Бек.

Генерал удивился.

— Что?

— Кому вы присягали?

— Вы знаете.

— Хочу услышать.

— Фюреру.

— Лично?

— Да.

— И что именно это означает для вас?

Собеседник нахмурился.

— Людвиг, вы начинаете задавать странные вопросы.

— Потому что обычные закончились.

Генерал поднялся и прошёл к окну.

— Это означает, что если верховный главнокомандующий отдаёт законный военный приказ, я должен его выполнять.

— Хорошо.

— Что ещё?

— А если приказ ведёт Германию к поражению?

— Моё дело предупредить.

— Предупредили.

— Тогда выполнить.

Бек медленно покачал головой.

— Получается, ваш долг перед человеком выше долга перед государством.

Генерал резко повернулся.

— Не передёргивайте.

— Я пытаюсь понять.

— Фюрер представляет государство.

— Всегда?

— Что значит «всегда»?

— Именно то, что сказал.

Генерал посмотрел на дверь, словно неожиданно вспомнил, что стены тоже существуют.

— Вы хотите, чтобы я рассуждал о законности верховной власти?

— Нет.

— Тогда о чём?

— О ситуации, в которой решение одного человека способно уничтожить то государство, которому мы служили ещё до него.

— Вы опасно разделяете эти вещи.

Бек усмехнулся без веселья.

— В этом и заключается проблема. Я всё меньше уверен, что разделяю их я.

Он встал.

— Допустим, Германия подверглась нападению. Нет вопросов. Допустим, решение спорное, но риск приемлем. Тоже нет вопросов. Но если высшее военное руководство убеждено, что война приведёт к катастрофе, а политический глава всё равно требует её начать — что тогда защищает присяга?

Генерал молчал.

— Государство? — продолжил Бек. — Или человека от государства?

— Так нельзя ставить вопрос.

— Почему?

— Потому что тогда каждый офицер будет сам определять, в какой момент приказ перестаёт соответствовать интересам Германии.

— Я не говорю о каждом лейтенанте.

— А принцип один.

— Нет.

Бек покачал головой.

— Чем выше должность, тем больше не только полномочий. Ответственности тоже.

— Удобная теория для начальника Генерального штаба.

— Мне она совсем не удобна.

Генерал вернулся к столу.

— Тогда скажите прямо. Вы считаете, что при определённых обстоятельствах можно нарушить присягу?

Бек несколько секунд смотрел на него. Вот он, вопрос без укрытия. Не меморандум. Не расчёт. Не Франция. Не укрепления.

— Я считаю, — медленно произнёс он, — что никакая присяга не может освобождать человека от ответственности за последствия его поступков.

— Это не ответ.

— Другого у меня пока нет.

— Потому что правильный ответ вам не нравится.

— Возможно.

— Правильный ответ прост: солдат подчиняется.

Бек устало опустился в кресло.

— Простые ответы особенно привлекательны перед сложной катастрофой.

Генерал взял фуражку.

— Вы идёте туда, куда армия идти не должна.

Бек поднял глаза.

— А если туда уже идёт государство?

Тот не ответил.

* * *

Через два дня Бек работал над новой запиской. На этот раз он почти не правил стиль. Обычно его документы проходили через несколько редакций. Он убирал лишние прилагательные, заменял эмоциональные формулировки холодными, уточнял военные термины. Ему было важно, чтобы читатель не мог отвергнуть аргумент, объяснив его раздражением автора. Но теперь сопротивлялась уже не формулировка. Сам вывод. За окном шелестели деревья. В приоткрытую дверь несколько раз заглядывал адъютант, но, увидев лицо начальника, уходил, не задавая вопросов. Бек писал о невозможности отделять военную оценку от последствий политического решения. О том, что вооружённые силы не готовы к большой войне. О том, что конфликт с Чехословакией способен стать лишь началом. О необходимости прекратить приготовления, если их конечной целью является сознательное развязывание войны при нынешнем соотношении сил. Но в какой-то момент текст перестал быть только военным. Бек отложил ручку. Прошёлся по кабинету. Вернулся. Снова перечитал несколько строк.

Он подошёл к тому, чего до сих пор избегал: к обязанности самого военного руководителя. Генерал, писал он теперь уже медленнее, не может ссылаться на повиновение там, где его знание и совесть говорят, что приказ угрожа-

ет существованию государства. Он остановился. Слово «совесть» выглядело на служебной бумаге почти чужеродным. В Генеральном штабе писали о боеготовности, пропускной способности, оперативной обстановке. Совесть не измерялась. Не имела норматива. Но именно она всё настойчивее вторгалась туда, где раньше достаточно было устава. Бек зачеркнул предложение. Написал снова. Жёстче. Если профессиональное знание убеждает высшего военного руководителя в губительности курса, безусловное подчинение перестаёт быть достаточным оправданием. Он перечитал. Не зачеркнул. Адъютант всё-таки вошёл.

— Господин генерал?

— Да.

— У вас через десять минут совещание.

Бек посмотрел на часы.

— Отмените.

— Всё?

— Первые два пункта перенести. Третий пусть пришлют письменно.

Адъютант уже хотел уйти.

— Подождите.

— Да?

Бек показал на стул.

— Сядьте.

Тот растерялся, но выполнил.

— Вы присягали в тридцать четвёртом?

— Да, господин генерал.

— Что вы тогда чувствовали?

Вопрос ошеломил его ещё сильнее.

— Не уверен, что понимаю.

— Ничего сложного. День. Построение. Присяга. Что думали?

Адъютант попытался вспомнить.

— Наверное... что это правильно.

— Почему?

— Гинденбург умер. Фюрер стал главой государства. Армия должна была иметь ясное подчинение.

Бек кивнул.

— Вы считали, что присягаете человеку?

Адъютант задумался.

— Формально — да.

— А внутренне?

Пауза.

— Германии.

Бек посмотрел на него внимательнее.

— Вот.

— Что?

— Ничего.

Он встал.

— Спасибо.

Адъютант не двигался.

— Разрешите спросить?

— Спрашивайте.

— Почему это вас сейчас интересует?

Бек посмотрел на лежащие страницы.

— Потому что иногда формальная и внутренняя присяга могут потребовать разного.

Адъютант побледнел. Бек заметил и сразу смягчил голос.

— Идите.

Когда дверь закрылась, он вернулся к тексту. Теперь уже знал, что хочет написать. Не юридическую теорию неповиновения. Не призыв к мятежу. Гораздо более опасную вещь: утверждение, что у повиновения существует предел.

* * *

В Лондоне примерно в те же дни спорили о другой форме обязательства. Не присяге. Гарантии. Чемберлен держал письмо Даладье и читал один абзац уже второй раз. Французский премьер хотел ясности. Если германские войска перейдут чехословацкую границу, Франция считала себя обязанной действовать. В Париже хотели понимать, может ли Франция рассчитывать, что Британия не оставит её одну. Вопрос был сформулирован осторожно. Смысл — нет. Чемберлен положил письмо. Галифакс сидел напротив. Кадоган — чуть в стороне.

— Он хочет обязательства, — сказал премьер.

— Он хочет уверенности, — поправил Галифакс.

— Для политика это одно и то же, если потом начинается война.

Кадоган заметил:

— Французская позиция понятна.

— Мне тоже.

Чемберлен раздражённо провёл рукой по столу.

— Именно поэтому она опасна.

Галифакс слегка приподнял бровь.

— Потому что понятна?

— Потому что может стать автоматической.

Он встал.

— Германия входит в Чехословакию. Франция вступает из-за договора. Британия вступает из-за Франции. И через неделю весь континент горит потому, что цепочка обязательств оказалась сильнее способности людей остановиться.

— Вы описали 1914 год, — сказал Кадоган.

Чемберлен повернулся.

— Именно.

— Но здесь есть отличие.

— Какое?

— В 1914-м Германия тоже утверждала, что вынуждена реагировать на чужую мобилизацию.

Премьер нахмурился.

— И?

— Если сейчас мы покажем Берлину, что Франция останется одна, это тоже повлияет на расчёт.

Галифакс кивнул.

— Слабость обязательства может быть не менее опасной,

чем его автоматизм.

Чемберлен некоторое время смотрел на обоих.

— Вы предлагаете дать французам гарантию?

Кадоган ответил осторожно:

— Я предлагаю, чтобы в Берлине не были уверены в обратном.

— Это дипломатическая формулировка.

— Мы в Форин-офисе.

Чемберлен невольно усмехнулся. Но вопрос остался. Он подошёл к окну. Внизу двигался Лондон — автобусы, такси, пешеходы. Один из крупнейших городов мира жил обычным летом. Люди собирались в отпуск, обсуждали крикет, цены, погоду. Любое обещание, которое он сейчас даст французскому премьеру, в случае войны будет оплачено этими людьми. Не самим Чемберленом. Не дипломатами. Не красивой фразой о чести Британии. Именно поэтому он так не любил слова, которые невозможно было взять обратно.

— Если Франция окажется жертвой неспровоцированной германской агрессии вследствие выполнения своих обязательств, — произнёс он медленно, — Британия не сможет относиться к этому безразлично.

Галифакс посмотрел на Кадогана. Тот ничего не сказал.

— Этого достаточно? — спросил Чемберлен.

— Для французов? — уточнил Кадоган.

— Да.

— Они услышат больше, чем вы сказали.

Премьер резко повернулся.

— Почему?

— Потому что им нужно больше.

Галифакс задумчиво добавил:

— А Берлин, возможно, услышит меньше.

Чемберлен раздражённо вздохнул.

— Значит, дипломатия состоит в том, что каждый слышит именно то, что ему необходимо?

— В плохие периоды — довольно часто.

Премьер вернулся к столу.

— Я не дам автоматической гарантии.

— Никто не предлагает.

— И не позволю французам использовать Британию как основание для жёсткости, которая закроет путь переговорам.

— Согласен.

— Но Германия тоже не должна считать, что Францию можно атаковать косвенно через Чехословакию и оставить одну.

Галифакс кивнул. В письме, которое уйдёт в Париж, формулировки будут осторожнее этой фразы. И именно поэтому их потом можно будет толковать по-разному.

* * *

В Париже ответ Чемберлена читали почти с облегчением. Бонне — быстрее. Даладье — осторожнее.

— Вот, — сказал министр иностранных дел. — Я говорил.

Даладье поднял глаза.

— Что именно?

— Англичане будут с нами.

— Где написано?

Бонне раздражённо ткнул пальцем в бумагу.

— Здесь.

— Там написано не это.

— Смысл очевиден.

— Для вас.

— Эдуар, если Германия нападёт, Франция выступит. Британия прекрасно понимает, что потом не сможет остаться в стороне.

— «Не сможет» — ваша формулировка.

— А вы считаете, сможет?

Даладье не ответил сразу. Нет. В этом заключалась проблема. Он тоже полагал, что в случае большой европейской войны политическое положение Британии в конечном счёте заставит её действовать. Но между предположением и гарантией лежало всё то пространство, которое отделяет дипломатический расчёт от солдатской могилы.

— Я считаю, — сказал он, — что они сами пока не хотят связывать себе руки.

Бонне усмехнулся.

— А кто хочет?

— Мы уже связаны.

— Договором с Прагой.

— Именно.

Бонне прошёлся по кабинету.

— Тогда тем более нужно использовать британскую поддержку для давления на чехов.

Даладье резко посмотрел на него.

— Опять?

— Конечно.

— Как из британской поддержки Франции вы получили необходимость давить на Прагу?

— Очень просто. Теперь у нас больше уверенности, что в случае крайней необходимости мы не останемся одни. Значит, можем требовать от Бенеша сделать всё, чтобы до крайней необходимости не дошло.

Даладье несколько секунд молчал. Логика была безупречной. И в этом её опасность. Каждое новое подтверждение солидарности Запада превращалось не только в средство сдерживать Германию. Оно превращалось и в средство давить на Чехословакию, чтобы та не заставила союзников проверять эту солидарность войной.

— Что именно вы хотите от Праги? — спросил он.

— Настоящей автономии.

— Они предлагают.

— Недостаточно.

— Генлейн всегда сможет сказать «недостаточно».

— Значит, пусть Рансимен или другой посредник определит, что разумно.

Даладье нахмурился.

— Британский посредник?

— Почему нет?

— Потому что это французский союзник.

— Именно поэтому французский посредник будет выглядеть хуже.

Даладье усмехнулся.

— Прекрасно. Мы имеем договор, который боимся выполнять, и поэтому просим государство без договора объяснить нашему союзнику, сколько он должен уступить.

Бонне вспыхнул.

— Вы намеренно всё искажаете.

— Нет.

Премьер устало сел.

— Я просто хочу услышать это без дипломатических слов.

Они замолчали. Через несколько минут Бонне сказал тише:

— Я тоже воевал в предыдущую войну, Эдуар.

Даладье поднял глаза.

— Я знаю.

— Не надо говорить со мной так, будто желание избежать новой — трусость.

— Я этого не говорил.

— Постоянно подразумеваете.

— Нет.

Даладье покачал головой.

— Я боюсь другого. Что наше желание избежать войны станет настолько очевидным, что Берлин начнёт рассчитывать на него как на постоянную величину.

Бонне посмотрел в сторону окна.

— А если мы скажем обратное и война начнётся именно потому, что никто не сможет отступить?

— Вот поэтому я всё ещё разговариваю с вами.

На этот раз оба улыбнулись. Слабо. На несколько секунд. Потом снова посмотрели на бумаги. Франция хотела двух противоположных вещей одновременно: чтобы Прага была достаточно уступчивой; и чтобы Берлин был достаточно напуган французской решимостью. Для первой цели требовалось показать чехам предел союзной поддержки. Для второй — убедить немцев, что предела нет. Такой баланс невозможно было сохранять бесконечно.

* * *

16 июля Бек закончил записку. Он прочитал её утром. Потом после обеда. После третьего прочтения вызвал Браухича. Главнокомандующий пришёл не сразу. Когда вошёл, Бек не предложил кофе. Это заметили оба.

— Что на этот раз?

Бек протянул бумаги.

— Прочтите здесь.

— Почему?

— Потому что хочу услышать ответ сразу.

Браухич сел. Читал долго. На первой странице лицо оста-

валось почти без выражения. На второй появилась складка между бровей. На третьей он остановился. Перечитал несколько строк. Поднял глаза.

— Это уже не военная оценка.

— Почему?

— Вы пишете о пределах повиновения.

— Да.

— Какое это имеет отношение к плану операции?

— Прямое.

Браухич отложил лист.

— Объясните.

Бек сел напротив.

— Мы неделями доказываем, что война может привести Германию к катастрофе.

— Может.

— Если вывод верен, что из него следует?

— Что политическое руководство должно это учитывать.

— А если не учитывает?

— Мы предупреждаем.

— Предупредили.

Браухич раздражённо сказал:

— Не повторяйте.

— Тогда ответьте.

Тот снова взял бумаги.

— Вы пишете, что военный руководитель не может прикрываться безусловным послушанием, если его знание и со-

весть говорят против приказа.

— Да.

— Это призыв к неповиновению.

— Нет.

— А что?

— Призыв принять ответственность до того, как приказ станет фактом.

— Словесная игра.

— Нет.

Бек наклонился ближе.

— Я предлагаю остановить приготовления к войне и сообщить Гитлеру, что высшее командование считает её в нынешних условиях недопустимой.

— А если он откажется?

— Тогда каждый должен решить, может ли оставаться на должности.

Браухич резко откинулся.

— Вот.

— Что?

— Наконец.

Он положил документ на стол.

— Вы всё-таки пришли к отставке.

— Да.

Слово прозвучало спокойно. Без пафоса. Именно от этого оно стало весомее.

— Своей?

— Если потребуется.

— Это ваше дело.

— Нет.

Бек покачал головой.

— Моя одна ничего не изменит.

Браухич уже знал продолжение.

— Вы хотите всех.

— Хочу, чтобы высшие командующие выступили вместе.

— Это невозможно.

— Почему?

— Потому что не все согласны.

— Пусть скажут.

— Потому что армия не предъявляет ультиматум верховному главнокомандующему.

— Если речь идёт о войне, которую сама армия считает катастрофической?

— Тем более.

Бек удивлённо поднял глаза.

— Почему «тем более»?

— Потому что иначе любой следующий политический конфликт будет решаться вопросом: поддержат ли генералы канцлера.

— И что?

— Это конец государства.

— Нет.

Бек впервые повысил голос.

— Конец государства — когда один человек может начать войну, зная, что все вокруг считают её гибельной, только потому, что уверен в их повиновении.

В комнате стало тихо. Браухич смотрел на него. Бек тоже понял, что сказал больше, чем собирался. Но отступать не стал.

— Вы говорите о фюрере как о противнике государства, — произнёс Браухич.

— Нет.

— Именно.

— Я говорю, что такая возможность существует.

— Для вас?

— Для любого человека.

Браухич встал.

— Вы понимаете, к чему ведёт подобная логика?

— Да.

— К тому, что генерал сам решает, когда глава государства перестаёт выражать интерес государства.

— Нет. К тому, что генерал не имеет права отказаться от собственной ответственности только потому, что наверху есть человек, принимающий окончательное решение.

Браухич отвернулся.

— А присяга?

Вот оно. Бек ждал.

— Что присяга? — спросил он.

— Вы дали её.

— Да.

— Как и я.

— Да.

— Лично ему.

Бек помолчал.

— Слова — да.

— Что значит «слова»?

— Когда я присягал, я считал, что присягаю Германии через её главу.

Браухич резко повернулся.

— Это удобное толкование.

— Единственное, с которым могу жить.

— А если Германия и её глава расходятся только в вашей голове?

Бек ответил тихо:

— Поэтому я и не хочу решать один.

Несколько секунд они смотрели друг на друга. Теперь Браухич понял смысл коллективной отставки иначе. Бек искал не только давление на Гитлера. Он искал подтверждение собственной моральной оценки. Если десятки старших генералов придут к одному выводу, это уже будет не личный мятеж начальника Генерального штаба. Это будет конфликт между политическим решением и военной ответственностью.

— Вы хотите голосования совести, — сказал Браухич.

Бек неожиданно улыбнулся.

— Ужасная формулировка.
— Но точная.
— Возможно.
Браухич снова посмотрел на записку.
— Я не передам это в таком виде.
— Почему?
— Потому что он воспримет как вызов.
— Это и есть вызов.
— Людвиг!
— Не власти.
Бек говорил теперь спокойно.
— Решению.
— Он не увидит разницы.
— Тогда проблема больше, чем моя записка.
Браухич сложил бумаги.
— Оставьте мне.
— Передадите?
— Я сказал: оставьте.
— Это не ответ.
— Другого сегодня не получите.
Бек встал.
— Хорошо.
У двери Браухич неожиданно спросил:
— Если я не передам?
Бек остановился.
— Тогда буду искать другой способ.

— Какой?

— Пока не знаю.

Главнокомандующий усмехнулся.

— Опять.

— Да.

Бек открыл дверь.

— Но теперь я хотя бы знаю, чего больше не считаю достаточным.

— Чего?

Бек обернулся.

— Просто выполнить.

* * *

В тот же вечер Ганс Остер говорил с Канарисом о присяге совершенно иначе. Они сидели в кабинете адмирала. Окно было закрыто, хотя в комнате стояла духота. Остер предпочитал так. Закрытое окно не делало разговор безопасным, но хотя бы создавало иллюзию, что слова остаются внутри.

— Бек дошёл до предела, — сказал он.

Канарис посмотрел на него.

— Откуда знаете?

— Люди разговаривают.

— Это не всегда преимущество.

— Он требует коллективной позиции командования.

— Знаю.

Остер чуть усмехнулся.

— Значит, люди разговаривают и с вами.

— Иногда.

— Он всё ещё думает об отставках.

— Да.

— Бесполезно.

Канарис не ответил.

— Вы согласны? — спросил Остер.

— Я считаю, что любое действие, способное остановить войну, заслуживает рассмотрения.

— Это не ответ.

— Сегодня все хотят от меня ответов.

Остер встал.

— Хорошо. Командующие подают в отставку. Гитлер принимает. Назначает других. Что изменилось?

— Армия получает сигнал.

— Какой?

— Что высшее руководство считает курс гибельным.

Остер покачал головой.

— Армия получает новых командующих.

Канарис посмотрел на него.

— И что предлагаете вы?

— Не уходить.

— Интересно.

— Именно.

Остер приблизился к столу.

— Если человек хочет помешать приказу, он должен находиться там, где приказ проходит.

— Вы уже говорите не об отставке.

— Нет.

— О неповиновении?

— Дальше.

Канарис несколько секунд молчал.

— Произносите.

Остер опёрся ладонями о стол.

— Если Гитлер отдаст приказ начать войну, его нужно остановить до того, как армия двинется.

— Каким образом?

— Арестовать.

Тишина. Слово лежало между ними почти материально. Канарис не изменился в лице.

— Кто?

— Те, у кого есть войска в Берлине.

— Вицлебен?

— В том числе.

— С каким приказом?

— Не знаю.

— Кто его отдаст?

— Вот что нужно решить.

— На каком основании армейские части арестуют верховного главнокомандующего, которому они присягнули?

Остер резко выдохнул.

— Опять присяга.

— Она существует независимо от того, нравится вам это

или нет.

— Присяга человеку, который ведёт страну к гибели, превращается в оружие против страны.

Канарис внимательно посмотрел на него.

— Очень легко сказать в кабинете.

— Я знаю.

— Нет.

Адмирал покачал головой.

— Вы хотите, чтобы капитан приказал солдатам окружить рейхсканцелярию. Солдат спросит: против кого? Капитан ответит: против фюрера. После этого вы рассчитываете, что слово «Германия» окажется сильнее присяги?

Остер молчал.

— Вот почему Бек важен, — продолжил Канарис. — И Браухич. И Гальдер. И Вицлебен. Вы можете ненавидеть их осторожность сколько угодно. Но без легитимности внутри армии вы получите не государственный переворот.

— А что?

— Путаницу.

Остер сел.

— Значит, ждать?

— Готовить.

Он поднял глаза. Канарис произнёс это очень тихо. Остер не сразу поверил.

— Что именно?

— Контакты.

— С кем?

— С теми, кто может понадобиться.

— Это уже звучит лучше.

— Не радуйтесь.

Канарис наклонился вперёд.

— И никакой самодеятельности.

— Хорошо.

— Никаких разговоров с людьми, которых не проверили.

— Хорошо.

— Никаких красивых слов о спасении Германии в ресторанах.

Остер усмехнулся.

— Вы плохо обо мне думаете.

— Поэтому вы ещё здесь.

Остер поднялся. У двери остановился.

— А вы сами?

— Что?

— Присяга.

Канарис долго не отвечал.

— Я служу Германии.

— Это не то, что мы произносили.

— Я знаю.

Остер кивнул. Этого было достаточно.

* * *

В Лондоне 18 июля получили новые сведения из Парижа. Французы истолковывали обмен письмами между Даладье и

Чемберленом как подтверждение того, что в случае германского вторжения Британия не оставит Францию одну. Кадоган принёс эту оценку Галифаксу. Тот прочитал и нахмурился.

— Мы это обещали?

— Не такими словами.

— Я именно поэтому спрашиваю.

— Французы считают, что смысл такой.

— А премьер?

— Считает, что каждый случай будет зависеть от обстоятельств.

Галифакс положил бумагу.

— Вот и проблема дипломатических заверений. Они должны быть достаточно сильными, чтобы удержать противника, и достаточно осторожными, чтобы не связать себя.

— Обычно получается наоборот.

— Что именно?

— Противник считает их слабыми. Союзник — обязательными.

Галифакс посмотрел на него.

— Сегодня вы особенно мрачны.

— Чехословакия располагает.

Он сел.

— Есть ещё вопрос.

— Какой?

— Если французы теперь чувствуют себя увереннее, они

могут занять более жёсткую позицию.

— Это хорошо.

— Не обязательно.

Галифакс понял.

— Прага.

— Именно.

Кадоган продолжил:

— Если чехи решат, что французская поддержка гарантирована, они будут менее склонны идти навстречу Генлейну.

— Поэтому им нужно объяснить, что наша позиция зависит и от их поведения.

— Да.

— Что опять выглядит как давление на Прагу.

— Потому что это и есть давление на Прагу.

Галифакс поморщился.

— Вы удивительно не дипломатичны для дипломата.

— Только в закрытой комнате.

Они помолчали.

— А Германия? — спросил министр.

— Что Германия?

— Что мы говорим Берлину?

— Что британское правительство не сможет остаться безразличным к конфликту, способному перерасти в европейскую войну.

— Слишком расплывчато.

— Премьер не хочет жёстче.

Галифакс постучал пальцами по столу.

— То есть чехам мы говорим достаточно ясно, чтобы они уступали. Немцам — достаточно неопределённо, чтобы не связывать себя.

Кадоган кивнул.

— Пока.

Галифакс посмотрел на него.

— Ненавижу это слово.

— Оно по-прежнему популярно.

* * *

19 июля Бек пошёл дальше. Записка предыдущих дней была уже не просто частным рассуждением. Теперь он хотел заставить военное руководство определить позицию. В одном из разговоров присутствовали несколько старших офицеров. Бек не повышал голоса. Именно поэтому слова воспринимались особенно серьёзно.

— Господа, мы можем ещё месяц спорить о вероятности французского вмешательства. Можем спорить о Британии. Можем надеяться, что дипломатия снова принесёт победу без войны. Но существует вопрос, который не зависит от прогнозов.

Один генерал спросил:

— Какой?

— Что мы сделаем, если прогноз окажется худшим?

— Будем воевать.

Бек посмотрел на него.

— Это ответ после начала войны.

— А какой нужен вам?

— До.

Другой генерал вздохнул.

— Опять коллективная отставка?

— В том числе.

— Людвиг, это бессмысленно.

— Почему?

— Потому что нас заменят.

— Всех?

— Всех не будет.

Бек усмехнулся.

— Вот к этому я и пришёл.

— К чему?

— Главная проблема не в том, примет ли Гитлер коллективную отставку.

Он посмотрел по сторонам.

— Главная проблема в том, что она никогда не станет коллективной.

Никто не возразил. Именно молчание подтвердило вывод. Один из генералов наконец сказал:

— Вы хотите от людей нарушить присягу.

— Нет.

— Хотите.

— Я хочу, чтобы они определили, кому именно присягали.

Разговор сразу изменился.

— Формулировка известна, — резко сказал другой.

— Мне тоже.

— Тогда вопрос странный.

— Нет.

Бек подошёл к окну.

— В 1934 году, когда мы произносили эти слова, кто-нибудь из вас считал, что присяга означает обязанность уничтожить Германию, если этого потребует человек, которому мы её дали?

— Демагогия.

— Хорошо.

Он повернулся.

— Заменю. Если он отдаст приказ, который вы лично считаете губительным для Германии, что имеет приоритет?

Никто не ответил сразу.

— Приказ, — сказал один.

— Государство, — произнёс другой почти одновременно.

Оба посмотрели друг на друга. Бек медленно кивнул.

— Вот.

Всего одно слово. Но теперь все увидели трещину.

— И кто решает, что полезно государству? — спросил первый.

— Не один генерал.

— Тогда кто?

Бек ответил:

— Поэтому я требую общей позиции высшего командования.

— А если половина скажет «приказ»?

— Тогда я хотя бы буду знать.

— Что?

Бек посмотрел на него.

— Что проблема глубже Гитлера.

Это прозвучало жестоко. Но никто не возразил.

* * *

В Париже тем временем обсуждали британское письмо уже шире. Даладье собрал нескольких министров и военных. Он хотел услышать не красивое общее мнение, а практическую оценку.

— Предположим, Германия переходит границу.

Генерал напротив него сразу наклонился к карте. Даладье остановил:

— Нет. Сначала политика.

Бонне посмотрел на него удивлённо.

— От вас неожиданно.

— Военные успеют.

Он обратился к министру иностранных дел.

— Франция выполняет обязательства.

— Да.

— Британия?

— Пойдёт с нами.

Даладье повернулся к генералу.

— Вы уверены?

Тот пожал плечами.

— Я не дипломат.

— Сегодня мне нужен человек, который скажет «не знаю».

Генерал улыбнулся.

— Тогда не знаю.

— Хорошо.

Даладье снова посмотрел на Бонне.

— Вот теперь считаем.

Военные заговорили. О сроках французской мобилизации. О германских силах на западе. О состоянии укреплений. О том, что серьёзное французское наступление способно заставить Германию снять силы с Чехословакии, но цена и темп подобной операции будут зависеть от множества факторов. В какой-то момент Бонне раздражённо перебил:

— Сколько времени?

Генерал посмотрел на него.

— Для чего?

— Чтобы помочь чехам.

— Такой ответ невозможно дать одной цифрой.

— Но война требует цифр.

— Политика требует.

Генерал покачал головой.

— Война потом объясняет политикам, почему цифра была неправильной.

Даладье почти улыбнулся.

— Продолжайте.

После совещания Бонне остался.

— Вы специально это устроили?

— Что?

— Хотели показать, что военное решение сложное.

— Оно и есть сложное.

— Значит, мой вывод верен. Нужно любой ценой добиться соглашения.

Даладье посмотрел на него устало.

— Жорж, вы умеете из любого военного доклада получить доказательство собственной политики.

— А вы — сомнение.

— Потому что мне придётся подписывать мобилизацию.

Бонне замолчал.

— Вот в чём разница, — сказал Даладье. — Пока мы говорим о переговорах, вы можете менять формулировки. После мобилизации начинается другая математика.

Он сел.

— Поэтому я хочу, чтобы Прага уступала там, где может.

— Наконец.

— И чтобы Германия понимала: существует граница.

— Какая?

Даладье посмотрел на карту.

— Вторжение.

— А если в Судетах вспыхнут беспорядки и Германия ска-

жет, что защищает своих?

— Тогда станет труднее.

— Значит, Генлейн может создать ситуацию, где всё будет неясно.

Даладье медленно поднял глаза.

— Именно.

Они оба впервые в этом разговоре увидели следующую опасность. Если Германии нужен повод, то граница между внутренним чехословацким кризисом и внешней агрессией может быть намеренно размыта. А договоры лучше всего работают там, где агрессор достаточно любезен действовать однозначно.

* * *

20 июля Остер встретился с Гизевиусом. Разговор происходил не в кабинете Канариса. Остер не хотел, чтобы все нити сходились в одном месте. Гизевиус слушал, почти не перебивая.

— Бек дошёл до присяги, — сказал Остер.

— В каком смысле?

— Пытается доказать генералам, что она не освобождает от ответственности.

Гизевиус усмехнулся.

— И как успехи?

— Можете догадаться.

— Они предпочитают ответственность после войны?

— Они предпочитают, чтобы войны не было и решать во-

обще ничего не пришлось.

— Разумное желание.

— Бесполезное.

Гизевиус подошёл к окну.

— А Браухич?

— Боится даже формулировки.

— Гальдер?

— Наблюдает.

— Вицлебен?

— Нужно говорить.

Гизевиус повернулся.

— Вы уже говорили?

— Недостаточно.

— И что хотите от него?

— Берлин.

— Весь?

— Для начала правительственный квартал.

Гизевиус смотрел на него несколько секунд.

— Значит, вы уже распределяете улицы.

— Нет.

— Похоже.

Остер сел.

— Я пытаюсь понять, что вообще потребуется, если приказ о войне станет сигналом.

— Сигналом для кого?

— Для нас.

— «Нас» пока не существует.

Фраза остановила Остера. Гизевиус продолжил:

— Есть Бек, который думает об отставке. Есть вы, который думаете об аресте. Есть Канарис, который думает о том, как не дать вам обоим сделать глупость раньше времени. Есть Вицлебен, у которого есть войска. Есть люди в дипломатии, которые хотят британской жёсткости. Это не заговор.

— Пока.

— Вы тоже полюбили это слово.

Остер усмехнулся.

— Возможно.

— Для переворота нужна не общая неприязнь к войне.

Гизевиус начал загибать пальцы.

— Нужен политический центр. Военный приказ. Части. Связь. Контроль полиции. Кто-то должен занять радиостанции. Кто-то — министерства. Кто-то — СС.

— Я знаю.

— Нет. Мы все говорим «знаю», пока не начинаем перечислять.

Остер посмотрел на него.

— Поэтому и начинаем.

— А присяга?

Остер раздражённо выдохнул.

— Сегодня все договорились.

— Она не исчезнет от раздражения.

— Тогда объясним армии, что Гитлер предал Германию.

— Чем?

— Войной.

— Которую ещё не проиграл.

Остер замолчал. Гизевиус подошёл ближе.

— Вот почему вам нужна Британия.

— Да.

— Чтобы доказать генералам, что война станет большой.

— Да.

— И если Британия не даст гарантии?

Остер не ответил. Потому что ответ был слишком неприятным. Без внешней угрозы многие генералы снова поверят Гитлеру. Не потому, что любят его. Потому что он снова сможет сказать: я знаю иностранцев лучше вас. Они не будут воевать. И до сих пор подобные слова слишком часто оказывались правдой.

— Нужно добиться ясности, — сказал Остер.

— Как?

— Через тех, кто может говорить с англичанами.

Гизевиус посмотрел внимательно.

— Уже есть кандидат?

Остер медленно кивнул.

— Найдётся.

* * *

В тот вечер Бек сидел дома один. На столе лежала копия его записки. Он не читал. Знал почти наизусть. Его беспокоила не формулировка. Результат. Он сумел дойти до пре-

дела собственной логики. Если война губительна — нужно предупредить. Если предупреждение не принято — нужно отказаться от участия. Если один отказ ничего не меняет — необходим коллективный. Но дальше начиналась пустота. Что, если генералы не уйдут? Что, если уйдут лишь двое или трое? Что, если Гитлер назначит других? Что, если страна воспримет их как трусов, испугавшихся войны, которую фюрер снова выиграет без единого выстрела? В дверь постучали. Дочь вошла с чашкой.

— Ты не ужинал.

— Не заметил.

Она поставила чашку.

— Опять Чехословакия?

— Сегодня больше Германия.

— Это лучше?

Бек улыбнулся.

— Нет.

Она села.

— Ты решил уйти?

Он посмотрел на неё.

— Почему?

— Ты последние дни говоришь так, будто собираешься.

— Возможно.

— Один?

— В этом и вопрос.

— Если остальные не пойдут?

Бек не ответил.

— Ты останешься?

— Не знаю.

Она немного помолчала.

— А присяга?

Бек удивился.

— Откуда ты...

— Я не живу в шкафу. Люди разговаривают.

Он усмехнулся.

— Иногда мне кажется, именно в шкафу сейчас безопаснее всего.

Она не улыбнулась.

— Ты давал присягу ему.

— Да.

— Значит, уйти можно?

— Уйти — да.

— А не выполнить приказ?

Бек посмотрел на неё.

— Не знаю.

— Почему это труднее?

Он задумался.

— Потому что отставка означает: я больше не могу служить на этих условиях.

— А неповиновение?

— Что я считаю своё понимание долга выше приказа законного начальника.

— И это плохо?

— Для армии — обычно смертельно.

— А если начальник неправ?

Бек медленно выдохнул.

— Вы сегодня все решили закончить моё военное образование?

Она улыбнулась.

— Я просто спросила.

— Именно это самое опасное.

Он взял чашку.

— Видишь ли, армия держится на том, что солдат не устраивает внутренний парламент перед каждым приказом.

— Я понимаю.

— Нет, к счастью.

Он посмотрел на неё уже серьёзно.

— Если каждый будет подчиняться только тогда, когда согласен, армия исчезнет.

— А если все подчиняются всегда?

Бек замер. Она закончила:

— Тогда может исчезнуть что-нибудь другое.

Несколько секунд он смотрел на неё. Потом неожиданно улыбнулся.

— Не хотите в Генеральный штаб?

— Там жарко.

— Очень.

Она встала.

— Выпей чай.

— Хорошо.

У двери обернулась.

— Я думаю, присяга не должна требовать от человека перестать думать.

Бек ничего не ответил. Когда дверь закрылась, он посмотрел на лежащую бумагу. В служебной записке подобная фраза выглядела бы наивной. Но иногда именно простая мысль показывает то, что профессиональный язык годами умеет скрывать.

* * *

К 20 июля четыре столицы подошли к одному и тому же вопросу с четырёх разных сторон. В Берлине Бек спрашивал генералов: где заканчивается повиновение, если приказ угрожает Германии? В Лондоне Чемберлен спрашивал своих министров: где заканчивается свобода британского решения, если Франция вступит в войну? В Париже Даладье спрашивал: где заканчивается стремление избежать войны и начинается сигнал Берлину, что Франция отступит всегда? В Праге Бенеш спрашивал: где заканчивается компромисс и начинается разбор государства на части? Ни один из этих вопросов пока не имел окончательного ответа. И почти каждый участник надеялся, что ответ даст кто-нибудь другой. Германские генералы ждали твёрдости Британии и Франции. Франция — большей определённости Британии. Британия — новых уступок Праги. Прага — подтверждения союзной

поддержки. Каждый хотел получить гарантию прежде, чем сам даст гарантию. И где-то между всеми этими ожиданиями Адольф Гитлер продолжал готовить собственное решение. Для него проблема выглядела гораздо проще.

Если противники отступят — Германия победит без войны. Если не отступят — армия должна быть готова. Именно эта простота давала ему преимущество над людьми, связанными договорами, совестью, страхом прошлой войны, парламентами, союзами и присягами. Бек всё ещё надеялся остановить его внутри существующей системы. Остер уже начинал думать о том, что делать, если система не остановит. Между ними пока оставалось большое расстояние. Но оба постепенно двигались к одной точке. К дню, когда Гитлер отдаст приказ. И тогда вопрос о присяге перестанет быть философским. Он станет приказом, который нужно будет либо выполнить, либо нарушить.

Глава 13. Лорд Рансимен

3–12 августа 1938 года

Лорд Рансимен прибыл в Прагу с задачей, сформулированной достаточно осторожно, чтобы каждая сторона могла понимать её по-своему. Он не был арбитром. Не имел права приказать президенту Чехословакии принять условия судетских немцев и не мог заставить Конрада Генлейна отказаться от требований, которые тот провозгласил весной. Британское правительство предпочитало слова «исследова-

ние», «посредничество», «содействие переговорам». В Лондоне надеялись, что присутствие человека, не принадлежавшего ни к одной из сторон, не позволит переговорам окончательно захлопнуться. В Праге многие слышали другое. Британия приехала проверить, достаточно ли мы уступили. В Судетской немецкой партии слышали третье. Теперь Прагу будут заставлять уступать быстрее. А в Берлине существовало четвёртое понимание: если миссия принесёт настоящий компромисс, она станет помехой.

И потому уже в момент прибытия Рансимен оказался в положении человека, от которого все чего-то ждали, но почти никто не хотел позволить ему добиться именно того, что было объявлено целью его приезда. Поезд пришёл в Прагу утром. На платформе было душно. Августовское солнце уже поднялось над городом, и крыша вокзала удерживала под собой тяжёлый нагретый воздух. Служащие, полицейские, дипломаты, несколько журналистов. Фотографы искали положение, в котором английский лорд будет выглядеть одновременно достаточно важным и достаточно усталым после дороги. Рансимен вышел спокойно. Чемоданы понесли следом. Его жена шла рядом. Он отвечал на приветствия, пожимал руки, улыбался ровно столько, сколько требовала ситуация, и при этом внимательно смотрел вокруг. Прага не выглядела столицей государства на грани распада. И это было первое впечатление, способное обмануть.

Трамваи шли по расписанию. Магазины были открыты.

На улицах сидели за столиками кафе. Туристы ходили по Старому городу. Люди спорили о политике, но не запасались хлебом и не заклеивали окна. В Лондоне кризис существовал в папках. Здесь он существовал рядом с обычной жизнью. Это всегда делало подобные кризисы опаснее. Человек смотрел на мирную улицу и начинал верить, что война невозможна именно потому, что всё вокруг выглядело слишком нормальным для войны. Рансимен уже видел подобное раньше. Он не считал себя человеком, способным приехать в чужое государство и за несколько недель исправить противоречия, накопленные за двадцать лет. Но он рассчитывал выяснить главное: существует ли ещё соглашение, которое обе стороны действительно готовы принять.

* * *

В Лондоне его отъезд восприняли с облегчением, которого старались не показывать публично. Чемберлен считал саму миссию почти идеальным инструментом — не потому, что заранее ожидал от неё успеха, а потому, что она давала время. Время выяснить позиции. Время удержать Францию от преждевременных обязательств. Время заставить Прагу предложить максимум разумных уступок. Время понять, действительно ли Гитлер хочет решить судетский вопрос или использует его как ступень к совсем другой цели. На следующий день после отъезда Рансимена премьер обсуждал миссию с Галифаксом и Кадоганом.

— Он не должен выглядеть нашим представителем, кото-

рый приехал распоряжаться чехами, — сказал Чемберлен.

Кадоган ответил:

— Формально он и не является таким.

— Я сказал — выглядеть.

Галифакс перелистывал бумаги.

— В Праге всё равно будут считать, что за ним стоит британское правительство.

— Разумеется.

— Судетские немцы — тоже.

— Возможно, это полезно.

Кадоган посмотрел на премьера.

— Для кого?

Чемберлен слегка нахмурился.

— Для переговоров.

— Если обе стороны считают, что Рансимен способен принести давление Лондона, каждая будет пытаться заставить его давить на другую.

— Так работает посредничество.

— Иногда.

Кадоган помолчал.

— А иногда посредник превращается в дополнительное поле боя.

Чемберлен отодвинул от себя бумаги.

— Александр, если вы заранее решили, что ничего не получится, скажите.

— Я не решил.

— Тогда?

— Я хочу понять, что мы считаем успехом.

Премьер посмотрел на него.

— Соглашение.

— Какое?

— Достаточно широкая автономия судетских немцев внутри Чехословакии.

— А если Генлейн потребует больше?

— Тогда станет ясно, кто мешает соглашению.

— Кому ясно?

— Нам. Парижу. Международному общественному мнению.

Кадоган кивнул.

— Хорошо. А если Прага предложит меньше того, что Рансимен сочтёт разумным?

— Тогда будем убеждать Прагу.

Галифакс поднял голову.

— То есть давление снова окажется там, где мы способны его применить.

Чемберлен раздражённо ответил:

— Мы не можем приказать Гитлеру.

— Именно.

— И что вы предлагаете?

— Ничего другого.

Галифакс закрыл папку.

— Я просто хочу, чтобы мы понимали механизм.

Он говорил спокойно, и это всегда раздражало Чемберлена сильнее открытого спора.

— У Германии есть угроза силы. У Франции — союзный договор. У Праги — территория, которой от неё требуют делиться полномочиями. У нас — влияние.

Он сделал короткую паузу.

— Поэтому наш инструмент неизбежно используется против стороны, на которую он действует лучше всего.

— И это Прага.

— Да.

Чемберлен некоторое время молчал. Он и сам понимал это. Но существовала и обратная логика. Если Чехословакия действительно могла решить проблему автономией, было бы безумием позволить ей привести Европу к войне ради полномочий местной администрации.

— Именно поэтому нужен Рансимен, — сказал он наконец.

— Чтобы определить границу разумного?

— Да.

Кадоган спросил:

— А если такой границы больше нет?

Чемберлен посмотрел на него.

— Тогда мы узнаем это.

— Надеюсь, раньше Гитлера.

* * *

Эдвард Бенеш принял Рансимена в Пражском граде 4 ав-

густа. Комната, выбранная для встречи, была просторной и торжественной. Высокие окна, тяжёлая мебель, ковёр, картины, в которых прошлое государства выглядело гораздо устойчивее настоящего. Бенеш не любил показывать раздражение иностранным дипломатам. Тем более британцам. Но приезд Рансимена задевал его сильнее, чем он хотел признавать. Чехословакия была суверенным государством. У неё существовали парламент, правительство, законы, международные договоры. И теперь представитель державы, не имевшей с Чехословакией военного союза, приезжал посредничать между правительством и политической партией собственных граждан. Формально Прага согласилась сама. Более того — после первоначального раздражения попросила прислать Рансимена быстрее. Это не делало положение менее унизительным. Президент поднялся навстречу гостю. Обмен любезностями занял несколько минут. Затем сели. Рансимен не начал с готовых предложений. Это Бенеш отметил сразу.

— Я хотел бы прежде всего понять вашу позицию, господин президент.

— Только мою?

Рансимен едва заметно улыбнулся.

— Если бы только вашу, я мог бы вернуться в Лондон через несколько часов.

Бенеш тоже улыбнулся. Начало оказалось лучше, чем он ожидал.

— Хорошо. Что именно вы хотите понять?

— Как далеко правительство готово пойти.

— В уступках?

— В соглашении.

Бенеш посмотрел на него.

— Хорошее слово.

— Вы считаете иначе?

— Нет. Но в последние месяцы слово «соглашение» всё чаще означает для нас перечень того, что должна сделать Прага.

Рансимен не стал возражать.

— Тогда расскажите, что Прага считает возможным.

Президент заговорил подробно. О языковых правах. О представительстве немцев в государственном аппарате. Об экономическом положении пограничных районов. О возможности широкого административного самоуправления. О необходимости учитывать не только немецкое большинство в отдельных районах, но и чешское население, евреев, немецких социал-демократов, людей, которые вовсе не хотели становиться частью национал-социалистической Германии. Рансимен слушал. Иногда задавал вопросы.

— Насколько далеко может зайти местное самоуправление?

— Достаточно далеко, чтобы немецкое население управляло большей частью своих местных дел.

— Полиция?

Бенеш сделал небольшую паузу.

— Вот здесь начинаются трудности.

— Почему?

— Потому что граница между местной администрацией и безопасностью государства сейчас проходит не там, где проходила бы в спокойное время.

Рансимен понял.

— Вы боитесь, что полиция окажется под контролем людей, ориентирующихся на Берлин?

— Я не только боюсь. Часть руководства Судетской немецкой партии открыто рассматривает Германию как политический ориентир.

— Но не все судетские немцы являются национал-социалистами.

— Разумеется.

Бенеш наклонился вперёд.

— Именно это я хотел бы, чтобы вы увидели.

— Увижу.

— Не только Генлейна.

— Разумеется.

— Не только партийные митинги.

Рансимен чуть поднял брови.

— Вы сомневаетесь в моей объективности ещё до начала работы?

— Я сомневаюсь в возможности любого иностранца за несколько недель понять страну, которую ему показывают

люди с заранее выбранным маршрутом.

Ответ был прямым. Рансимен не обиделся.

— Тогда предложите другой маршрут.

Бенеш несколько секунд смотрел на него.

— Хорошо.

Этот ответ ему понравился. Президент подошёл к карте.

— Здесь проблема выглядит просто.

Он провёл рукой вдоль пограничных районов.

— Немецкое большинство. Чехословацкое государство. Германия рядом.

Рансимен встал тоже.

— А в действительности?

— В одном городе семьдесят процентов немцев, но железнодорожный узел имеет значение для всей страны. В другом — немецкие деревни окружают чешский промышленный район. Здесь находятся укрепления. Здесь — предприятие, работающее на оборону. Здесь немецкие социал-демократы, которые боятся Генлейна больше, чем Праги. Здесь еврейские семьи, для которых присоединение к Германии вообще не является вопросом национального самоопределения.

Он повернулся.

— Проведите здесь красивую этническую линию, милорд.

Рансимен долго смотрел на карту.

— Я не приехал проводить границы.

— Надеюсь.

Бенеш вернулся к креслу.

— Потому что если речь действительно об автономии, мы можем обсуждать очень многое.

— А если об отделении?

— Нет.

Ответ прозвучал сразу.

— Ни при каких условиях?

— Если Чехословакия добровольно отдаст пограничные территории, она отдаст не только население. Она отдаст оборонительную систему.

Рансимен сказал:

— Я понимаю.

Бенеш внимательно посмотрел на него.

— Простите, милорд. Нет.

Тот удивился.

— Что именно?

— Вы понимаете логически.

Президент говорил без раздражения.

— А мы понимаем физически. Если эти районы исчезают из государства, германская армия оказывается там, где сегодня стоят наши укрепления. Тогда вопрос уже не в трёх миллионах немцев. Вопрос в существовании остальной страны.

Рансимен кивнул.

— Именно поэтому я здесь.

— Тогда у нас общая проблема.

— Какая?

Бенеш едва заметно улыбнулся.

— Определить, действительно ли господин Генлейн хочет автономии.

* * *

После встречи Рансимен долго не говорил. В автомобиле рядом сидел один из его сотрудников. Прага проплывала за окнами.

— Впечатление? — спросил помощник.

Рансимен ответил не сразу.

— Умный человек.

— Это усложняет дело?

— Всегда.

Помощник усмехнулся.

— Он убедил вас?

— В чём?

— Что проблема создана Берлином.

— Нет.

Рансимен посмотрел в окно.

— Проблема существовала до Берлина.

— А теперь?

— Теперь Берлин решает, станет ли она разрешимой.

Он помолчал.

— Вот это мне нравится меньше всего.

— Почему?

— Потому что посредничество возможно только между людьми, которые имеют право согласиться.

Помощник понял.

— Вы сомневаетесь, что Генлейн имеет?

— Пока я сомневаюсь почти во всём. Для этого меня и прислали.

* * *

В Берлине прибытие Рансимена встретили без восторга. Гитлер не любил посредников. Посредник по самой своей природе предполагал, что существует компромисс, одинаково допустимый для двух сторон. А он всё меньше рассматривал Чехословакию как сторону, интересы которой вообще следует сохранять в будущем решении. Риббентроп был раздражён ещё сильнее.

— Англичане снова лезут туда, где их никто не просил.

Гитлер посмотрел на него.

— Чехи попросили.

— После давления Лондона.

— Тем лучше.

Риббентроп не понял.

— Почему?

Гитлер поднялся.

— Если Рансимен скажет, что положение немцев невыносимо, это будет английское мнение, а не наше.

— А если скажет, что предложения Праги достаточны?

Гитлер остановился. Вот в чём состояла опасность.

— Тогда Генлейн не согласится.

Риббентроп помолчал.

— Даже если предложения будут соответствовать Карлсбаду?

Гитлер посмотрел на него.

— Они не будут.

— А если?

Гитлер раздражённо произнёс:

— Почему все в последнее время спрашивают меня «а если»?

Риббентроп замолчал. Гитлер подошёл к карте.

— Чехи не могут выполнить Карлсбадскую программу полностью и сохранить своё государство таким, как сейчас.

— Поэтому?

— Поэтому либо откажут, либо дадут недостаточно.

— А если Рансимен будет давить на них?

— Пусть.

Гитлер усмехнулся.

— Чем больше уступок англичане выжмут из Праги, тем яснее будет, что проблема не решается половинчатыми мерами.

Риббентроп задумался.

— То есть миссия может быть нам полезна.

— Пока не решила вопрос.

Вот и здесь появилось это слово. Пока.

* * *

Генлейн воспринимал британскую миссию сложнее. Карл Герман Франк — проще. Они встретились вскоре после при-

бытия Рансимена. Франк был раздражён.

— Ничего хорошего.

Генлейн поднял голову.

— Что именно?

— Англичанин.

— Он не армия.

— Иногда хуже.

Генлейн отложил бумаги.

— Объясни.

— Если он убедит Прагу предложить то, что можно принять?

Генлейн несколько секунд молчал.

— Мы будем оценивать предложение.

Франк усмехнулся.

— Очень дипломатично.

— А ты хочешь, чтобы я заранее объявил посреднику, что никакого соглашения не будет?

— Я хочу, чтобы мы помнили цель.

— Я помню.

— Не уверен.

Генлейн резко посмотрел на него.

— Осторожнее.

— Почему? Мы вдвоём.

Франк сел.

— В Карлсбаде мы выдвинули восемь пунктов.

— Да.

— Теперь Прага будет дробить их на юридические формулировки. Англичане будут убеждать нас, что получили почти всё.

— Возможно.

— А потом?

Генлейн не ответил. Франк наклонился ближе.

— Если мы согласимся на широкую автономию внутри Чехословакии, что дальше?

— Мы получим власть в немецких районах.

— Внутри Чехословакии.

— Пока.

Франк улыбнулся.

— Наконец правильное слово.

Генлейн встал.

— Не разговаривай со мной как с подчинённым.

— Тогда не ведите себя так, будто забыли, кто определяет направление.

Генлейн замер. Так далеко Франк обычно не заходил.

— Берлин?

— Вы сами знаете.

— Я разговаривал с Гитлером не для того, чтобы ты потом объяснял мне его волю.

Франк поднялся тоже.

— Тогда почему мы вообще боимся Рансимена?

Генлейн молчал. Вопрос был точным. Если Судетская немецкая партия действительно хотела лишь автономии,

британский посредник мог оказаться полезен. Если целью было разрушение Чехословакии, успешное посредничество становилось угрозой.

— Мы не боимся, — сказал Генлейн.

— Хорошо.

Франк взял фуражку.

— Тогда посмотрим, насколько вы будете рады, когда Бенеш предложит семь с половиной пунктов из восьми.

Он вышел. Генлейн остался один. Рансимен действительно поставил его в неприятное положение. Пока Прага просто отказывала, всё было понятно. Немецкое население требовало прав. Чешское государство сопротивлялось. Но если Бенеш начнёт уступать всерьёз, нужно будет либо принять успех, либо показать, что целью было не то, о чём говорили публично. Генлейн подошёл к окну. Ему всё меньше нравилось, что два этих пути начинали расходиться.

В Париже прибытие Рансимена встретили осторожным облегчением. Бонне считал, что британский посредник способен сделать то, чего Франция сама делать не могла без политического ущерба. Давить на Прагу. Не выглядя при этом союзником, который хочет избавиться от обязательств. Даладье видел проблему.

— Вы слишком довольны.

Бонне посмотрел на него.

— Разве?

— Да.

— Потому что наконец появился человек, который сможет сказать обеим сторонам, что разумно.

— Обеим?

— Конечно.

Даладье усмехнулся.

— Посмотрим.

Они сидели в кабинете премьера. Перед ними лежали первые сообщения о прибытии миссии.

— Англичане сами предупреждали, — сказал Даладье, — что мы должны быть осторожны. Если создастся впечатление, будто Франция использует Рансимена для давления на союзника, в Праге решат, что мы ищем предлог отказаться от договора.

— Мы не ищем.

— Знаю.

— Тогда в чём проблема?

— Во впечатлении.

Бонне пожал плечами.

— Бенеш всё равно должен понимать положение.

— Какое?

— Франция не может идти в войну, если независимый посредник скажет, что Прага отвергла справедливый компромисс.

Даладье внимательно посмотрел на него.

— Вот.

— Что?

— Вы уже знаете, что скажет Рансимен.

— Я ничего подобного не сказал.

— Сказали.

Он взял одну из телеграмм.

— Миссия только приехала.

— И?

— А вы уже построили политику на её заключении.

Бонне раздражённо ответил:

— Потому что нам необходимо объективное основание.

— Для чего?

— Для решения.

— Какого?

Бонне помолчал. Даладье продолжил:

— Если Рансимен скажет, что Прага предложила разумный компромисс, а Генлейн отказался?

— Тогда ответственность будет на немецкой стороне.

— И Франция?

— Выполнит обязательства.

— Хорошо.

— Вы довольны?

— Нет.

Даладье отложил бумагу.

— Но теперь хотя бы слышу симметрию.

Бонне усмехнулся.

— Вы подозреваете меня в желании бросить чехов при

любом исходе.

— Нет.

— Тогда?

— В желании найти формулу, которая позволит избежать войны при любом исходе.

— И что в этом плохого?

Даладье посмотрел на него.

— Если одна сторона знает это заранее, формула перестаёт работать.

Бонне замолчал. Они оба понимали, о какой стороне идёт речь.

* * *

В Москве миссию Рансимена рассматривали без британского облегчения и без берлинского раздражения. В начале августа Литвинов напоминал Александровскому: советский интерес состоит не в том, чтобы защищать каждую линию послевоенной карты только потому, что она существует. Москва сама не была автором Версаля. Если бы в Германии сохранялся демократический режим и спор шёл только о праве немецкого населения на более справедливое устройство, советская позиция могла бы быть другой. Опасность виделась в ином — в усилении национал-социалистической Германии и её продвижении на юго-восток, которое меняло европейский баланс сил и приближало германскую мощь к зоне жизненных интересов СССР.

Поэтому Александровскому предписывали поддерживать

разумный компромисс, если он сохраняет Чехословакию независимым государством, но не внушать Бенешу, будто Советский Союз готов в любом случае начать одностороннюю войну. Для Москвы это различие было принципиальным. Помощь Чехословакии должна была работать как часть коллективного сдерживания: Франция выполняет договор, СССР выполняет договор, Лига Наций и другие государства создают политическую среду, в которой агрессор не может рассчитывать на локальный конфликт. Если же Франция отступает заранее, советское действие в одиночку превращается уже не в коллективную безопасность, а в отдельную советско-германскую войну с неясным доступом к полю боя.

Литвинов говорил об этом и германским дипломатам достаточно прямо: Москва заинтересована прежде всего в том, чтобы не допустить дальнейшего усиления гитлеровской Германии. Он рассчитывал, что в случае явной агрессии Франция всё-таки выступит, Британия не сможет оставить Францию одну, а Советский Союз выполнит собственные обязательства. Это был расчёт на цепь взаимного сдерживания — почти зеркальное отражение той цепи, которой Чемберлен опасался как механизма большой войны. В Лондоне старались не допустить автоматизма союзов. В Москве надеялись, что именно убедительность союзов не позволит автоматизму войны запуститься вообще.

В следующие дни миссия Рансимена начала работать не только с правительством. Его сотрудники изучали предло-

жения сторон, разговаривали с политиками, представителями немецкого населения, чиновниками, дипломатами. Сам Рансимен быстро понял, насколько легко получить совершенно убедительную картину Чехословакии — если поговорить только с одной группой людей. Судетский немецкий предприниматель мог час рассказывать о государственных заказах, которые, по его убеждению, чаще уходили чешским фирмам. Безработный рабочий говорил о закрывшейся фабрике и о том, что в Праге вспоминают о немецких районах только во время выборов. Учитель жаловался на языковые ограничения и карьеру, которая заканчивалась там, где начиналась чешская администрация. Каждая история была конкретной. Не пропагандой. Не выдумкой. И именно это усложняло всё. Потому что через два часа можно было услышать другую сторону. Чешский железнодорожник рассказывал, как на станции его начали называть оккупантом в городе, где он родился.

Немецкий социал-демократ говорил, что чешское государство раздражает его бюрократией, но Германия пугает концлагерями. Еврейский врач спрашивал, включается ли его мнение в понятие «самоопределение немецких районов», если он говорит по-немецки, но прекрасно понимает, что после прихода рейха перестанет быть гражданином в любом нормальном смысле этого слова. Один такой разговор произошёл в небольшом кафе на западе страны. Рансимен туда не приезжал сам; беседовал один из сотрудников мис-

сии. За соседними столиками сидели местные жители, и каждый раз, когда разговор становился громче, несколько человек начинали слушать. Немецкий школьный учитель по фамилии Бергер говорил медленно, тщательно выбирая слова.

— Вы хотите знать, считаю ли я себя немцем?

— Да.

— Конечно.

— Хотите ли вы более широких прав для немецких районов?

— Да.

— Тогда вы поддерживаете Генлейна?

Бергер посмотрел на англичанина почти с удивлением.

— Почему из первых двух ответов должен следовать третий?

Сотрудник миссии сделал пометку.

— Потому и спрашиваю.

— Я голосовал за немецкие партии ещё до того, как Генлейн стал тем, кем стал.

— А теперь?

Бергер отпил кофе.

— Теперь от меня хотят не только быть немцем.

— А кем?

— Правильным немцем.

— Что это значит?

Учитель посмотрел на вход, потом снова на собеседника.

— Это значит, что я должен смотреть на Берлин и радо-

ваться.

— Вы не радуетесь?

— Иногда.

Ответ удивил англичанина. Бергер заметил.

— Вы ожидали простоты?

— Нет.

— Все ожидают.

Он усмехнулся.

— Прага спрашивает: вы верны республике? Генлейн спрашивает: вы верны своему народу? А мне хотелось бы иногда, чтобы кто-нибудь спросил, хочу ли я спокойно преподавать историю и не объяснять детям каждое утро, кого они должны ненавидеть.

За соседним столиком кто-то громко поставил чашку. Бергер замолчал.

— Продолжайте, — сказал англичанин.

— Нет.

— Почему?

Учитель чуть улыбнулся.

— Потому что вы уедете.

В этой короткой фразе было больше информации, чем в нескольких страницах официальных меморандумов.

В другом месте сотрудники миссии говорили с немецким рабочим, оставшимся без постоянной работы после кризиса начала десятилетия. Он не сомневался.

— Я хочу в Германию.

— Почему?

— Потому что там есть работа.

— Вы уверены?

— Мой брат уехал туда.

— И?

— Работает.

— Вас не беспокоит политический режим?

Рабочий пожал плечами.

— Политический режим не кормит детей.

— Иногда именно он решает, кто их кормит.

— Вы англичанин?

— Да.

— Тогда легко рассуждать.

В его голосе не было злобы. Только усталость.

— Вы приезжаете, записываете, потом возвращаетесь домой. У вас есть империя. У нас есть закрытая фабрика.

Сотрудник миссии опустил карандаш.

— И вы думаете, после присоединения к Германии фабрика откроется?

— Не знаю.

— Тогда почему?

Рабочий посмотрел на него почти с раздражением.

— Потому что то, что есть сейчас, не работает.

Вот и ещё один ответ. Не идеология. Не Гитлер. Не национальная романтика. Обычное желание, чтобы нынешняя жизнь закончилась. Такое желание особенно легко превра-

щать в политическую силу людям, которые обещают не улучшить существующий порядок, а уничтожить его.

В Праге Бенеш получал отчёты о поездках британцев с растущим беспокойством. Ему не нравилось, что сотрудники миссии видят реальные немецкие жалобы. Не потому, что хотел их скрыть. Он боялся другого: жалоба отдельного человека могла быть принята за доказательство того, что государственный вопрос имеет такое же простое решение. Годжа слушал его и наконец не выдержал:

— Эдвард, вы сами требовали, чтобы они посмотрели не только на Генлейна.

— Да.

— Теперь недовольны, что смотрят.

— Я недоволен тем, как легко человека убеждает личная история.

— Политика состоит из личных историй.

— Государство — нет.

Годжа усмехнулся.

— Очень президентская фраза.

Бенеш не отреагировал.

— Если безработный немец говорит Рансимену, что хочет в Германию, это важно.

— Разумеется.

— Но не означает, что весь район можно отдать Германии.

— Тоже разумеется.

— Для нас.

Он подошёл к столу.

— А англичанин возвращается вечером, открывает карту и видит область с немецким большинством.

— Вы заранее обвиняете его в примитивности.

— Нет.

Бенеш вздохнул.

— Я боюсь естественной человеческой логики.

— Какой?

— Если проблема сложная, человек ищет простое решение. Особенно если страна не его.

Годжа помолчал.

— Тогда предложите решение лучше.

Президент посмотрел на него.

— Именно этим мы и занимаемся.

— Недостаточно быстро.

— Для кого?

— Для сентября.

Бенеш нахмурился.

— Почему сентября?

— Потому что все говорят о Нюрнберге.

Это было правдой. Сентябрьский партийный съезд всё больше становился датой, вокруг которой строились ожидания. Гитлер должен был выступать. Что скажет? Потребует ли открыто решения судетского вопроса? Будет ли ультиматум? Рансимен только приехал, а времени для его миссии уже мысленно отвели меньше месяца.

— Тогда ускорим предложения, — сказал Бенеш.

Годжа посмотрел внимательнее.

— Насколько?

— Настолько, насколько можно, не разрушая государство.

— Опять эта граница.

— Она существует.

— А если англичане проведут её в другом месте?

Бенеш устало ответил:

— Вот поэтому я и не люблю посредников.

* * *

В Берлине тем временем Бек почти не занимался Рансименом. Для него британская миссия являлась политическим фоном гораздо более непосредственной проблемы. Четвёртого августа должно было состояться совещание высшего командования сухопутных войск. То, чего он добивался. Генералы наконец окажутся в одной комнате. И каждый сможет сказать перед другими то, что говорил наедине. Бек ожидал этого дня почти с облегчением. Потом — с тревогой. Потому что чем ближе становилось совещание, тем яснее он понимал: коллективная встреча может дать совсем не тот результат, которого он хочет. По одному люди были откровенны. В группе начиналась другая психология. Никто не хотел быть самым осторожным. Самым испуганным. Самым политическим. Самым нелояльным. Особенно если рядом сидит человек, который может повторить сказанное наверху. Гальдер пришёл к нему вечером.

— Готовитесь?

— К чему?

— Четвёртому.

— Я готов уже два месяца.

— Это плохой признак.

Бек отложил бумагу.

— Вы думаете, они промолчат?

— Нет.

— Тогда?

— Будут говорить именно столько, чтобы потом каждый мог объяснить свои слова двумя способами.

Бек усмехнулся.

— Вы становитесь специалистом по генералам.

— Работаю среди них.

— Вы тоже генерал.

— Поэтому и знаю.

Он сел.

— Что хотите получить?

— Единую позицию.

— Не получите.

— Вы удивительно полезны сегодня.

— Хотите приятного — пригласите кого-нибудь другого.

Бек посмотрел на него.

— Хорошо. Что получу?

Гальдер задумался.

— Большинство скажет, что война опасна.

— Хорошо.

— Некоторые — что политическое руководство лучше знает Францию и Англию.

— Плохо.

— Кто-то напомнит Австрию.

— Разумеется.

— Несколько человек скажут, что приказы не обсуждаются.

Бек кивнул.

— И?

— И все разойдутся.

— Нет.

— Почему?

— Потому что в конце я поставлю вопрос об отставке.

Гальдер внимательно посмотрел на него.

— Всех?

— Да.

— Прямо?

— Да.

— Это будет интересно.

— Я не собираюсь развлекать вас.

— Я знаю.

Гальдер помолчал.

— А если никто не поддержит?

Бек ответил не сразу.

— Тогда буду знать.

— Что?

— Что рассчитывать на генералитет как на единое препятствие Гитлеру нельзя.

Гальдер тихо произнёс:

— И что будете делать с этим знанием?

Бек посмотрел на него.

— Пока не знаю.

Гальдер чуть улыбнулся.

— Хорошо. Значит, вы ещё вы.

* * *

Совещание 4 августа не стало восстанием генералов. Это стало ясно довольно быстро. Высшие командующие собрались у Браухича. Обстановка была официальной, но тема делала её почти личной. Бек изложил оценку. Не спеша. Без эмоциональных фраз. Риск большой войны. Недостаточная готовность на западе. Опасность французского вмешательства. Невозможность уверенно исключить Британию. Экономическая уязвимость Германии в затяжном конфликте. Он видел по лицам: ничего нового для большинства не говорил. Когда закончил, начались вопросы. Сначала профессиональные. Потом осторожные возражения.

— Французская армия сама не готова к наступательной войне.

— Возможно.

— Британцы не хотят участвовать.

— Вероятно.

— Чехословакия может уступить до начала операции.

— Может.

Бек отвечал спокойно. Потом один из генералов сказал:

— Вы исходите из того, что фюрер действительно начнёт войну.

— Я исхожу из его директивы.

— Он может использовать её как давление.

— Может.

— Тогда вся наша дискуссия преждевременна.

Бек посмотрел на него.

— Если обсуждать войну после приказа, дискуссия будет поздней.

Кто-то сказал:

— Мы не политики.

— Я знаю.

— Тогда зачем обсуждать политическое решение?

— Потому что именно нам придётся превращать его в военное.

Разговор стал напряжённее. Браухич несколько раз пытался смягчить формулировки. Бек не позволял увести тему. Наконец сказал то, ради чего добивался встречи:

— Если высшее командование считает войну в нынешних условиях губительной, одной записки недостаточно.

В комнате стало тихо.

— Что вы предлагаете? — спросили его.

— Совместно сообщить фюреру, что мы не можем нести

ответственность за такой курс.

Кто-то нахмурился.

— В какой форме?

Бек посмотрел по сторонам.

— Если предупреждение будет отвергнуто — в форме коллективной отставки.

Вот она. Фраза прозвучала. Не в частном кабинете. Перед генералами. Несколько секунд никто не говорил. Затем началось.

— Невозможно.

— Это будет политическая демонстрация.

— Армия не может ставить условия.

— Фюрер просто примет отставки.

— Не все командующие согласятся.

— Это разрушит управление именно в момент кризиса.

Бек слушал. Практически каждое возражение он уже слышал по отдельности. Но теперь произошло главное. Люди, которые в его кабинете говорили о катастрофе, здесь начинали объяснять, почему ничего сделать нельзя. Один из генералов сказал:

— Я разделяю вашу оценку риска, но не вывод.

— Почему?

— Потому что наша обязанность — дать оценку. Решение не наше.

— Даже после того, как оценку отвергли?

— Особенно.

Другой добавил:

— И есть присяга.

Бек посмотрел на него.

— Я ждал.

— Чего?

— Этого слова.

— А как иначе?

— Я уже говорил: присяга не может означать обязанность помочь уничтожить Германию.

В комнате возникло недовольное движение.

— Слишком далеко.

— Недопустимая формулировка.

— Никто не уничтожает Германию.

Бек почувствовал странное спокойствие. Вот оно. Граница. Он увидел её окончательно. Люди соглашались, что война может быть катастрофой. Но назвать человека, который способен её начать, угрозой государству — не могли. Пока. Браухич завершил совещание без решения о коллективной отставке. Официально генералы высказали опасения. Неофициально Бек проиграл. После заседания он стоял у окна, пока другие расходились. Один из генералов задержался.

— Не принимайте слишком близко.

Бек повернулся.

— Что?

— Сегодня.

— Почему?

— Вы заставили их услышать.

— Они и раньше слышали.

— Теперь друг друга.

— Это не помогло.

Собеседник пожал плечами.

— Может, поможет позже.

Бек едва заметно улыбнулся.

— Все немецкие генералы обладают удивительной верой в «позже».

* * *

О том, что происходило в германском командовании, Рансимен не знал. Он продолжал разговаривать. Это было его оружие. К 8 августа он уже начинал чувствовать структуру конфликта. Реальные немецкие претензии существовали. Это было невозможно отрицать. Чехословацкая система не всегда обращалась с национальными меньшинствами так безупречно, как любила изображать себя за рубежом. Экономический кризис ударил по германским промышленным районам тяжело. Представительство в административном аппарате действительно вызывало споры. Языковой вопрос был реальным. Но существовало другое. Каждая проблема, которая ещё вчера могла решаться реформой, сегодня становилась частью национального противостояния. Если открывался завод — это был вопрос не занятости, а того, кому государство помогает: чехам или немцам. Если назначали чиновника — не его компетентности, а националь-

ности. Если полиция задерживала участника митинга — не правопорядка, а «чешского угнетения». Если немецкий политик соглашался на компромисс — его могли назвать предателем народа.

Так общество постепенно теряло пространство, в котором обычное решение оставалось просто обычным решением. Рансимен обсуждал это с Эштон-Гваткином вечером.

— Вы знаете, что меня беспокоит?

— Список уже длинный.

— Я почти нигде не слышу вопроса: «хорошо ли это работает?»

— А что слышите?

— «Чьё это?»

Он поставил стакан.

— Чешское или немецкое. Наше или их.

Эштон-Гваткин кивнул.

— Национальный конфликт.

— Да, но он уже поглощает всё остальное.

— И что это значит для нас?

Рансимен посмотрел на него.

— Что автономия может решить административную проблему.

— Но не национальную.

— Именно.

— Тогда?

Рансимен помолчал.

— Нужно понять, достаточно ли Генлейну административного решения.

Эштон-Гваткин чуть усмехнулся.

— Думаю, вы уже знаете ответ.

— Я подозреваю.

— Разница?

— Огромная.

— Для кого?

— Для человека, который должен потом написать, что видел.

* * *

В Лондоне первые отчёты миссии читали с напряжённым вниманием. Они не давали того простого результата, которого мог бы хотеть Чемберлен. Не говорили: чехи полностью правы. Не говорили: немцы полностью правы. И это раздражало и успокаивало одновременно.

— Значит, претензии существуют, — сказал премьер.

Галифакс кивнул.

— Да.

— И Прага готова обсуждать существенные уступки.

— Похоже.

— Тогда соглашение возможно.

Кадоган помолчал.

— Если обе стороны имеют право его заключить.

Чемберлен посмотрел на него.

— Вы возвращаетесь к Берлину.

— Мы всё время возвращаемся к Берлину.

— Рансимен только начал.

— Я не предлагаю делать вывод.

— Хорошо.

Чемберлен прошёлся по кабинету.

— Если он сможет показать, что существует разумная автономия...

— Что тогда?

— Мы поддержим её.

— И если Генлейн откажется?

— Тогда давление пойдёт на него.

Кадоган спросил:

— Через кого?

Чемберлен остановился. Простой вопрос. Британия могла давить на Прагу непосредственно. Через дипломатов. Через Париж. Через обещания и предостережения. Но Генлейн всё сильнее зависел от Берлина. Значит, реальное давление на него означало давление на Гитлера. А здесь британские рычаги становились гораздо слабее.

— Через германское правительство, — сказал Галифакс.

Кадоган едва заметно улыбнулся.

— Если оно заинтересовано в соглашении.

Чемберлен раздражённо ответил:

— Мы снова возвращаемся к предположению, которое ещё не доказано.

— Да.

— Тогда дождёмся.

Он сел.

— Именно для этого Рансимен там.

* * *

В Париже Даладье после первого отчёта британской миссии сделал другой вывод.

— Значит, немцы действительно имеют основания для части жалоб.

Бонне посмотрел на него почти с удовлетворением.

— Я говорил.

— Не радуйтесь.

— Почему?

— Потому что реальные жалобы опаснее вымышленных.

Министр нахмурился.

— Интересная логика.

— Если жалоба выдумана, её можно разоблачить.

Даладье положил документ.

— Если она настоящая, Гитлер получает материал, который может использовать без необходимости что-то придумывать.

Бонне задумался.

— Значит, тем более Прага должна уступить.

— Да.

Ответ снова удивил.

— Сегодня мы неожиданно согласны.

— Не спешите.

Даладье продолжил:

— Она должна уступить там, где речь действительно о правах.

— Конечно.

— Но если после этого требования продолжатся, мы должны сделать вывод.

— Какой?

— Что речь не о правах.

Бонне помолчал.

— И тогда?

— Тогда Франция должна быть яснее.

— Насколько?

— Достаточно, чтобы в Берлине поняли.

Бонне посмотрел на него.

— Вы всё ещё надеетесь на британцев.

— А вы нет?

— Я надеюсь на Рансимена.

— Это не одно и то же.

— Если он даст авторитетную оценку, Лондон будет вынужден определить позицию.

Даладье медленно кивнул. В этом Бонне, возможно, был прав. Британская миссия могла стать не только инструментом давления на Прагу. Она могла заставить и сам Лондон однажды перестать говорить общими словами. Если Рансимен скажет: чехи сделали достаточно, британскому правительству станет гораздо труднее продолжать требовать от

них всё новых уступок. По крайней мере, так хотелось думать в Париже.

* * *

В Судетской области тем временем никто не ждал выводов британской миссии спокойно. Сторонники Генлейна старались показать приезжим немецкие районы как страну, находящуюся под чужой властью. Чехословацкие чиновники — как нормальную часть демократического государства, в которой политическая агитация искусственно превращает бытовые и экономические трудности в национальный конфликт. И обе стороны могли привести доказательства. На одной улице немецкая вывеска. На другой чешский чиновник, плохо говорящий по-немецки. Немецкая школа. Чешский полицейский участок. Партийный плакат Генлейна. Газета, предупреждающая о нацизме. Флаг. Значок. Разговор, который прекращался, когда в комнату входил незнакомец. Один из сотрудников Рансимена вечером сказал:

— Самое удивительное — почти никто не лжёт полностью.

Рансимен посмотрел на него.

— Обычно так и бывает.

— Но рассказы несовместимы.

— Потому что люди выбирают факты, подтверждающие их мир.

— Как тогда установить правду?

Рансимен усмехнулся.

— Вы слишком молоды для дипломатии.

— Это ответ?

— Боюсь, да.

Он встал.

— Завтра поговорите с немецкими социал-демократами.

— Генлейн будет недоволен.

— Тем более.

— А потом?

— С местными промышленниками.

— Чехи будут недовольны.

— Прекрасно.

Помощник улыбнулся.

— Значит, мы движемся правильно?

Рансимен посмотрел на него.

— Посредник, которым одинаково недовольны обе стороны, ещё не обязательно прав.

Он надел пиджак.

— Иногда он просто раздражает всех.

* * *

12 августа Бенеш снова встретился с Годжей. На столе лежал новый проект уступок. Более серьёзный, чем прежний. Президент долго читал.

— Это уже почти максимум.

— Я знаю.

— Немецкие административные районы.

— Да.

— Представительство в государственных учреждениях.

— Да.

— Экономическая программа.

— Да.

— Языковые гарантии.

— Да.

Бенеш положил бумаги.

— И если откажут?

Годжа устало посмотрел на него.

— Вы спрашиваете меня как премьер-министра или человека?

— Есть разные ответы?

— Премьер-министр предложит ещё переговоры.

— А человек?

Годжа помолчал.

— Спросит, чего они хотят на самом деле.

Бенеш встал.

— Я уже спрашиваю.

— И?

Президент подошёл к карте.

— Мне не нравится ответ.

— Германия?

— Не Судеты.

Он провёл рукой по всей стране.

— Чехословакия.

Годжа молчал.

— Но Рансимен пока этого не скажет, — продолжил Бенеш.

— Почему?

— Потому что ему нужны доказательства.

— А вам?

— Мне тоже.

Он повернулся.

— Иначе мы сами превратим переговоры в формальность.

— Вы всё ещё верите, что соглашение возможно?

Бенеш задумался.

— С судетскими немцами — да.

— С Генлейном?

Более долгая пауза.

— Не знаю.

— С Гитлером?

Президент посмотрел на карту.

— Вот это уже другой вопрос.

В тот же вечер Рансимен записывал впечатления дня. Не официальный отчёт. Для себя. Он отметил несколько вещей. Претензии немецкого населения нельзя просто отвергнуть как пропаганду. Чехословацкое правительство готово к значительным уступкам, хотя боится, что широкая территориальная автономия превратится в подготовку к отделению. Судетская немецкая партия говорит об автономии, но её окончательная свобода переговоров остаётся неясной. Берлин присутствует почти в каждом разговоре, даже когда

его представители отсутствуют в комнате. Последняя мысль заставила его остановиться. Он перечитал. Берлин присутствует, даже когда немцев нет. Возможно, именно это и было главным. Кризис выглядел внутренним. Граждане одного государства спорили о правах, языке, администрации, территории. Но над каждым спором находилась третья сила, способная в любой момент изменить смысл любого компромисса. Если Генлейн соглашался слишком легко, Берлин мог остановить его. Если Прага уступала, Берлин мог потребовать больше.

Если британский посредник находил середину, середина могла оказаться никому не нужной уже на следующий день. Рансимен закрыл блокнот. За окном Прага была тёмной и тихой. Город выглядел безопасным. Он уже начинал понимать, насколько ненадёжно это впечатление. В Лондоне ждали его оценки. В Париже хотели использовать её как меру справедливого компромисса. В Праге надеялись доказать свою готовность уступать. В Судетах одни ждали автономии, другие — Германии, третьи боялись обеих сторон. А в Берлине существовало решение, о котором Рансимен не знал: если политические обстоятельства окажутся подходящими, Чехословакия должна быть уничтожена военной акцией. При таких условиях посредник мог найти идеальное соглашение. Оставался только один вопрос. Нужен ли был этот мир тем, кто обладал силой его разрушить?

Глава 14. Люди Канариса

13–17 августа 1938 года

У заговора долго не бывает имени. Сначала есть только люди, которые начинают задерживаться после служебных разговоров на несколько минут дольше, чем требуется. Один закрывает дверь, хотя раньше не закрывал. Другой, закончив говорить о документах, неожиданно спрашивает, что собеседник думает не о приказе, а о человеке, который его отдаёт. Третий перестаёт использовать фамилии по телефону. Четвёртый, услышав слишком прямую фразу, не возмущается — и этим уже отвечает. Никакой организации ещё нет. Нет списка участников. Нет командующего. Нет письменного плана. Но существует момент, после которого люди начинают узнавать друг друга. Летом 1938 года одним из мест такого узнавания стала военная разведка. Абвер. Служба, предназначенная для добывания чужих секретов, постепенно превращалась в пространство, где несколько офицеров и гражданских лиц пытались сохранить собственный секрет от государства, которому служили. Во главе стоял адмирал Вильгельм Канарис.

Невысокий, сдержанный, внешне почти незаметный рядом с людьми, любившими мундир как сценический костюм, он обладал редким качеством — умением слушать так, что собеседник до конца не понимал, услышал ли он одобрение, предупреждение или просто получил возможность договорить. Ганс Остер ненавидел эту манеру. И нуждался в ней.

Утром 13 августа он вошёл в кабинет Канариса с папкой, которую не собирался открывать. Адмирал заметил это сразу.

— Если документ не нужен, зачем принесли?

Остер посмотрел на папку.

— Чтобы, если кто-нибудь войдёт, у нас был повод разговаривать.

— Тогда хотя бы положите перед собой.

Остер сел и сделал, как сказано. Канарис продолжал просматривать бумаги.

— Говорите.

— Четвёртое августа ничего не дало.

— Знаю.

— Бек проиграл.

— Он не собирал голосование.

— Именно поэтому проиграл хуже.

Адмирал поднял глаза.

— Объясните.

Остер наклонился вперёд.

— Все увидели, что генералы не выступят вместе только потому, что считают войну опасной.

— Это было понятно и раньше.

— Беку — нет.

— Теперь понятно.

— И что?

Канарис снова посмотрел в документ.

— Это нужно спросить у Бека.

Остер раздражённо произнёс:

— Он ещё думает об отставке.

— Имеет право.

— Один уйдёт — один придёт.

— Вероятно.

— Несколько уйдут — назначат несколько новых.

— Возможно.

— Вы можете хоть раз не оставлять себе запасное слово?

Канарис медленно поднял голову.

— Могу.

Пауза.

— Вы ведёте себя опасно.

Остер усмехнулся.

— Вот. Уже лучше.

— Я серьёзно.

— Я тоже.

Остер указал на закрытую дверь.

— Мы несколько месяцев обсуждаем, что Гитлер может втянуть Германию в войну. Теперь его собственная директива готовит эту войну. Бек сказал генералам, что она может быть катастрофой. Они согласились и разошлись по кабинетам.

Канарис ничего не ответил.

— Значит, расчёта недостаточно, — продолжил Остер. — Отставки недостаточно. Разговоров недостаточно.

— И?

— Нужен план.

— Для чего?

Остер помолчал.

— Для момента, когда он отдаст приказ.

Канарис положил карандаш.

— Какой приказ?

— Вы знаете.

— Хочу услышать.

Остер едва заметно улыбнулся. Он узнавал метод адмирала.

— Приказ о нападении на Чехословакию.

— Хорошо.

— Если такой приказ будет отдан, это должно стать сигналом.

— Для кого?

— Для тех, кто ещё способен остановить его.

— Каким образом?

Остер посмотрел на него.

— Арестовать Гитлера.

Тишина длилась недолго. Канарис не удивился. Возможно, это испугало Остера больше, чем удивление.

— Вы уже говорили это раньше, — произнёс адмирал.

— Теперь говорю как предложение.

— Нет.

— Почему?

— Потому что предложение отвечает хотя бы на второй

вопрос.

— Какой?

— После первого.

Канарис откинулся назад.

— Хорошо. Гитлера нужно арестовать. Кто отдаёт приказ?

Остер молчал.

— Кто исполняет?

— Вицлебен может дать войска.

— Может?

— Имеет возможность.

— Это разные вещи.

— Поэтому с ним нужно говорить.

— Дальше.

— Берлинские части.

— Какие именно?

Остер назвал несколько возможных соединений и командиров, чьё расположение и личные взгляды позволяли хотя бы обсуждать их участие. Канарис слушал.

— СС?

— Изолировать ключевые объекты.

— Кто?

— Армейские части.

— Полиция?

— Нужен Гизевиус.

Адмирал слегка прищурился.

— Почему?

— Потому что он знает аппарат изнутри. Лучше нас.

— Рейхсканцелярия?

— Отдельная группа.

— Радио?

Остер замолчал.

— Вот.

Канарис снова взял карандаш.

— Вы хотите государственный переворот, а пока перечислили несколько фамилий и пожеланий.

— Поэтому я здесь.

— Нет.

Адмирал покачал головой.

— Вы здесь потому, что вам нужен человек, который скажет, что ваши пожелания уже стали планом.

Остер почувствовал раздражение.

— А вы будете ждать, пока план появится сам?

— Нет.

Канарис поднялся. Прошёл к окну.

— Но между человеком, который хочет действовать, и человеком, который способен действовать, есть неприятный период подготовки. Вы пытаетесь его перепрыгнуть.

— Времени мало.

— Тем более нельзя ошибиться.

— Если Гитлер отдаст приказ в сентябре, идеального плана не будет.

— Я не говорил об идеальном.

Канарис повернулся.

— Я говорил хотя бы о существующем.

Остер тоже встал.

— Тогда создадим.

Адмирал посмотрел на него долго.

— Сначала Вицлебен.

Остер замер. Это было почти согласие.

— Я поговорю.

— Не один.

— С кем?

— Гизевиус.

— Почему?

— Потому что генералам иногда полезно слышать не только другого генерала.

Остер кивнул. У двери Канарис добавил:

— И ещё.

— Что?

— Не говорите Вицлебену, что всё решено.

— Я никогда...

— Именно это вы делаете, когда хотите убедить человека.

Остер усмехнулся.

— А вы?

— Я стараюсь, чтобы человек сам решил, что уже убеждён.

Остер вышел. Через несколько секунд Канарис снова сел за стол. Перед ним лежали настоящие служебные бумаги.

Разведывательные сообщения. Сводки. А где-то между ними уже существовал разговор об аресте главы государства. Никакой папки для него пока не было. И это было разумно.

* * *

Ганс Бернд Гизевиус не производил впечатления человека, которого военные привыкли считать необходимым для переворота. Он был моложе большинства генералов почти на поколение. Юрист. Бывший чиновник политической полиции. Человек, слишком хорошо знавший, как возникала гестапо, как полицейская структура постепенно превращалась в инструмент режима и как легко слова «государственная безопасность» меняли смысл, когда государство начинали отождествлять с одним политическим движением. Именно поэтому Остер хотел его видеть. Они встретились не в абвере. Остер выбрал квартиру знакомого, где разговор можно было представить обычным частным визитом. Гизевиус пришёл без опоздания. Первое, что он спросил после приветствия:

— Нас уже арестовывают или пока только обсуждаем?

Остер нахмурился.

— Почему?

— По вашему лицу.

— Садитесь.

— Значит, обсуждаем.

Он снял пиджак. Август стоял душным даже вечером.

— Канарис согласен?

— На что?

— На то, ради чего вы меня вызвали.

— Я ещё не сказал.

Гизевиус усмехнулся.

— Значит, согласен не полностью.

Остер решил не отвечать.

— Мне нужно понять полицию.

— Всю?

— Берлин.

— Для чего?

— Если армия выступит против Гитлера.

Улыбка исчезла. Гизевиус посмотрел на него внимательнее.

— Наконец.

— Не радуйтесь.

— Я не радуюсь.

— Похоже.

— Я несколько лет слушаю людей, которые говорят, что режим опасен. Обычно после этого они добавляют, что время ещё не пришло.

Остер сел напротив.

— Если будет приказ о нападении на Чехословакию, время придёт.

— Кто решил?

— Пока никто.

— Отлично.

— Именно поэтому и разговариваем.

Гизевиус откинулся на спинку кресла.

— Что нужно знать?

— Если военные части блокируют правительственный квартал, кто способен организовать сопротивление?

— СС.

— Очевидно.

— Тогда зачем спрашиваете?

— Не в общем.

Гизевиус задумался.

— Полиция сложнее.

— Почему?

— Потому что армейские офицеры любят представлять её как единое ведомство.

— А это не так?

— Даже близко.

Он начал объяснять. Разные структуры. Разные начальники. Разные уровни лояльности. Люди, искренне преданные режиму. Люди, преданные должности. Люди, которые присоединятся к тому, кто к вечеру будет выглядеть победителем.

— Последних больше всего, — сказал Гизевиус.

— Вы уверены?

— В любой бюрократии.

— Значит, если армия действует быстро...

— Не заканчивайте.

Гизевиус поднял руку.

— Вот ошибка военных. Вы думаете, что приказ создаёт реальность.

— Часто создаёт.

— В казарме.

Он наклонился ближе.

— В политическом перевороте реальность создаёт уверенность. Кто первым убедит людей, что именно он представляет законную власть, тот получит половину аппарата без боя.

Остер задумался.

— Поэтому радио.

— Радио. Телефон. Министерства. И главное — объяснение.

— Какое?

Гизевиус пожал плечами.

— Зачем вы арестовали Гитлера?

— Чтобы предотвратить войну.

— Для вас достаточно.

— А для страны?

— Нет.

Остер нахмурился.

— Почему?

— Потому что страна видит человека, который вернул Рейнскую область, Австрию и работу миллионам, а вы говорите ей: мы арестовали его, потому что он собирался сделать

следующий шаг.

— Шаг к мировой войне.

— Докажите.

Остер раздражённо сказал:

— Франция.

— Может быть.

— Британия.

— Может быть.

— Вы начинаете говорить как генералы.

— Потому что именно в этом они правы.

Гизевиус встал.

— Если Париж и Лондон ясно скажут, что нападение на Чехословакию означает европейскую войну, тогда ваш переворот получает объяснение.

— Мы спасаем Германию от войны.

— Да.

— А без этого?

— Вы группа офицеров, которые арестовали популярного канцлера, потому что испугались его внешней политики.

Остер молчал.

— Вот почему вам нужна не только армия, — продолжил Гизевиус. — Вам нужна внешняя реальность, которую невозможно объяснить очередным блефом.

— Именно за этим люди и должны ехать в Лондон.

— Кто?

Остер не ответил. Но кандидат уже существовал.

* * *

Эрвин фон Вицлебен встретил Остера и Гизевиуса без гостеприимства. Не потому, что не хотел их видеть. Потому что не любил разговоры, которым заранее придавали больше значения, чем они имели.

— Если вы пришли обсуждать настроение армии, не тратьте время, — сказал он после первых формальностей.

Остер снял перчатки.

— Пришли обсуждать Берлин.

Вицлебен поднял глаза. Гизевиус наблюдал. Командующий Третьим военным округом обладал тем, чего не имели многие заговорщики. Войсками. Именно поэтому его согласие было важнее десятка смелых разговоров.

— Что с Берлином? — спросил он.

— Если Гитлер отдаст приказ напасть на Чехословакию, армия должна остановить его.

Вицлебен некоторое время смотрел на Остера.

— «Армия»?

— Да.

— Какая?

Остер понял, что разговор пойдёт по канарисовской схеме.

— Части военного округа.

— Кто отдаёт приказ?

— Высшее командование.

— Кто именно?

— Браухич.

Вицлебен почти усмехнулся.

— Тогда приходите, когда он подпишет.

— Он может не подписать.

— Значит, нет приказа.

— Гальдер.

— Он ещё не начальник Генерального штаба.

— Будет.

Вицлебен перевёл взгляд на Гизевиуса.

— А вы зачем?

— Чтобы объяснить, что произойдёт с полицией, если вы всё-таки решитесь.

— Я ещё не решился.

— Поэтому я и здесь.

Вицлебен встал. На столе лежала карта Берлина. Не заговора. Обычная служебная карта военного округа. Но теперь все трое смотрели на неё иначе.

— Допустим, — сказал Вицлебен, — приходит приказ о войне.

Остер кивнул.

— Дальше?

— Браухич и Генеральный штаб заявляют, что приказ ведёт Германию к катастрофе.

— Он уже заявил?

— Бек заявлял.

— Бек собирается уходить.

— Именно поэтому нужен другой механизм.

Вицлебен резко повернулся.

— Вы хотите, чтобы армейские части арестовали фюрера без приказа главнокомандующего?

— Я хочу, чтобы существовала возможность.

— Это не ответ.

— Пока другого нет.

Вицлебен посмотрел на карту.

— Сколько у вас людей?

Остер не ответил.

— Вот.

Генерал постучал пальцем по столу.

— Вы говорите «мы», но «мы» не является воинской частью.

Гизевиус вмешался:

— Поэтому нужен человек, у которого она есть.

Вицлебен посмотрел на него холодно.

— Вы пришли меня завербовать?

— Нет.

— Плохо получается.

— Я пришёл объяснить, что полиция не остановит армию, если армия будет действовать как власть, а не как группа мятежников.

— Очень тонкое различие.

— В политике — решающее.

Вицлебен помолчал.

— И кто объявит нас властью?

Никто не ответил сразу. Генерал усмехнулся.

— Вот теперь дошли до главного.

Он сел.

— Хорошо. Допустим, Гитлер хочет войны. Допустим, Бек прав и Франция вступит.

Он посмотрел на Остера.

— А если нет?

— Что?

— Если Франция не вступит.

Остер нахмурился.

— Это риск.

— Нет.

Вицлебен говорил спокойно.

— Это всё.

Он указал на карту, но уже не Берлина, а Европы, лежавшую рядом.

— Если Гитлер прав и Запад снова отступит, что именно вы предлагаете мне сделать?

— Не ждать, пока он однажды ошибётся.

— Удобно.

— Это не аргумент.

— Тогда вот аргумент.

Вицлебен посмотрел на обоих.

— Рейнская область. Австрия. Каждый раз генералы говорили о риске. Каждый раз он оказывался прав.

— До первого поражения, — сказал Остер.

— Именно.

— Вы хотите дождаться поражения?

— Я хочу знать, что на этот раз это не очередная угроза, которой никто не ответит.

Гизевиус тихо спросил:

— Если Британия и Франция ясно заявят, что будут воевать?

Вицлебен сразу не ответил. Потом сказал:

— Тогда разговор другой.

Остер наклонился вперёд.

— Насколько другой?

— Настолько, чтобы я слушал дальше.

— А действовать?

— Не торопитесь.

Вицлебен встал.

— Все вы хотите от генерала одного и того же.

— Чего?

— Чтобы он совершил государственный переворот на основании дипломатического прогноза.

— Не прогноза.

— Пока именно.

Он посмотрел на Гизевиуса.

— Вы знаете англичан?

— Людей, которые знают.

— Тогда пусть привезут не сочувствие.

— А что?

Вицлебен ответил почти теми же словами, которые Бек слышал от других генералов:

— Ясность.

Он подошёл к окну.

— Если нападение на Чехословакию действительно означает войну с Западом, Гитлер ведёт Германию к катастрофе.

Пауза.

— Если Запад снова уступит, вы хотите, чтобы я сверг человека за победу.

Никто не возразил. Потому что именно эта формула объясняла всю слабость заговора. Не недостаток ненависти к риску. Не отсутствие людей. Не даже присяга. Им требовалось событие, которое превратит сопротивление из мятежа против успешного диктатора в попытку предотвратить очевидную национальную катастрофу. И это событие зависело не только от Германии.

* * *

В Лондоне примерно в те же дни вопрос о германской решимости обсуждали без всякого представления о том, насколько буквально несколько немецких генералов ждали британского ответа. На столе у Галифакса лежали сообщения из Берлина и Праги. Кадоган стоял у окна. Чемберлен читал первые впечатления миссии Рансимена.

— Я не вижу тупика, — сказал премьер.

— Пока, — заметил Кадоган.

Чемберлен посмотрел поверх очков.

— Вы специально?

— Простите.

Галифакс усмехнулся.

— Слово действительно стало опасным.

Чемберлен продолжил:

— Прага готова двигаться.

— Да.

— Судетские требования тоже не выглядят абсолютно невозможными, если речь действительно об автономии.

Кадоган повернулся.

— Вот главное «если».

— Что вы предлагаете? Исходить из того, что Гитлер уже решил уничтожить Чехословакию?

— Нет.

— Тогда?

— Проверять каждую уступку вопросом: приближает ли она соглашение.

Галифакс кивнул.

— Разумно.

Чемберлен положил бумагу.

— Рансимен именно этим и занимается.

Кадоган взял другой документ.

— Есть ещё германские сообщения.

— Какие?

— Военные круги недовольны.

Премьер посмотрел внимательнее.

— Насколько серьёзно?

— Невозможно сказать.

— Опять слухи?

— Не только.

— Кто?

Кадоган помолчал.

— Люди вокруг армии и консервативных кругов. Некоторые считают войну против Чехословакии безумием.

Чемберлен усмехнулся.

— Это не делает их друзьями Британии.

— Никто не говорил.

Галифакс добавил:

— И не делает демократами.

— Тем более.

Чемберлен встал.

— Я не собираюсь строить британскую политику на надежде, что немецкие генералы свергнут собственного канцлера.

— Разумеется.

— Мы уже видели германских консерваторов, которые возмущаются методом Гитлера и поддерживают половину его целей.

Кадоган кивнул.

— Это верно.

— Тогда что именно от нас хотят эти люди?

Ответа не было. Пока британцы имели только фрагменты. Разговоры. Намеки. Предупреждения. Не план.

— Если они действительно существуют, — сказал Чемберлен, — пусть сначала покажут, что способны что-то сделать.

Кадоган посмотрел на него.

— Возможно, они ждут того же от нас.

— Чего?

— Доказательства, что Германия столкнётся с войной.

Премьер резко повернулся.

— И ради того, чтобы немецкие генералы почувствовали себя увереннее, я должен дать обязательство начать европейскую войну?

— Я не сказал.

— Но логика именно такая.

Галифакс вмешался:

— Невилл, логика может быть обратной. Твёрдое предупреждение способно сделать войну менее вероятной.

— Или сделать невозможным отступление.

— Да.

Они снова пришли к тому же. Каждый инструмент мира имел противоположное применение. Жёсткость могла сдержать Гитлера. И могла запустить цепь мобилизаций. Уступка могла снять повод. И могла убедить Берлин, что давление работает. Чемберлен подошёл к карте.

— Именно поэтому я хочу фактов, а не германских заго-

ворщиков.

— Скоро, возможно, получите, — сказал Кадоган.

— Что?

Тот посмотрел на бумаги.

— Люди из Германии ищут способ поговорить с нами напрямую.

Премьер не ответил. Это было ещё слишком неопределённо. Но через несколько дней неопределённость получит имя. Эвальд фон Клейст-Шменцин.

* * *

В Париже о немецких генералах знали ещё меньше. Там обсуждали другое. 17 августа пришли сведения о встрече представителей чехословацкого правительства и Судетской немецкой партии. Разрыв между позициями оставался слишком велик. Бонне прочитал телеграмму дважды.

— Плохо.

Даладье сидел напротив.

— Почему?

— Потому что время идёт.

— Это я вижу.

— Рансимен не может бесконечно держать обе стороны за столом.

— И не должен.

Бонне поднял голову.

— Что значит «не должен»?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.